

В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ



КРАТКИЙ КУРС
ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ

Василий Ключевский
Краткий курс по русской истории

«Издательство АСТ»

2016

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

Ключевский В. О.

Краткий курс по русской истории / В. О. Ключевский —
«Издательство АСТ», 2016

«Краткий курс по русской истории» написан выдающимся историком, профессором Московского университета В. О. Ключевским (1841–1911) и охватывает период с древнейших времен до начала XX века. Этот труд является одним из важнейших исследований по истории нашей страны и пользуется заслуженной популярностью в научной среде и у широкого круга читателей. «Сказания иностранцев о Московском государстве» – это первый отечественный труд, в котором практически с исчерпывающей на момент написания полнотой были изучены известия иностранцев о России XV–XVII вв. Книга состоит из тематических разделов, в каждом из которых глазами иностранцев представлена та или иная сфера жизни средневековой России: города, торговля и монета, войско, государь и его двор, прием иностранных послов, управление и судопроизводство, доходы казны, вид страны, ее климат, почвы, их плодородность, население и т. д.

УДК 94(47)

ББК 63.3(2)

© Ключевский В. О., 2016

© Издательство АСТ, 2016

Содержание

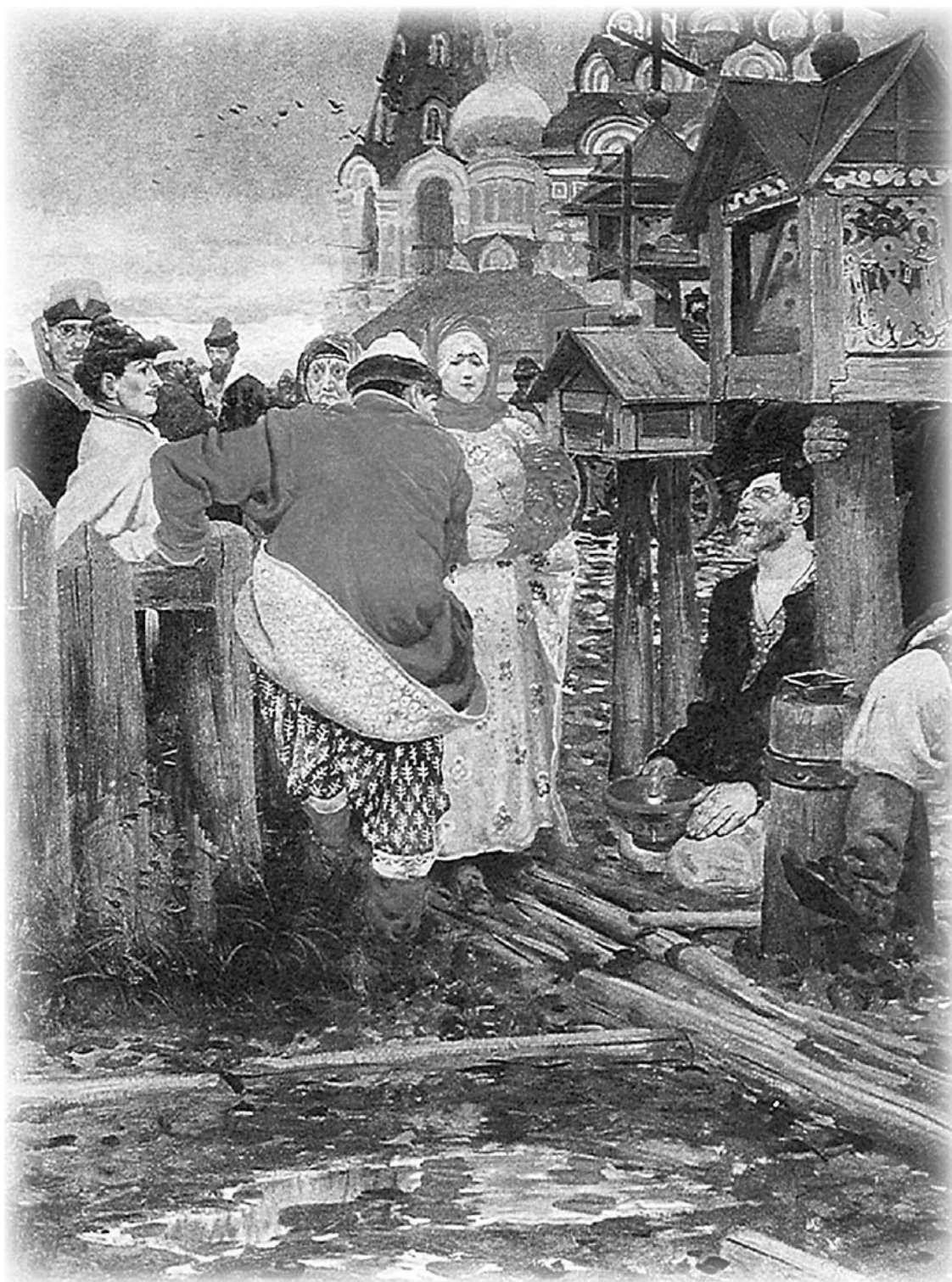
В. О. Ключевский	9
Краткий курс по русской истории	22
Природа восточно-европейской равнины	22
Древнейшие известия о народах Восточной Европы	28
Восточные славяне	34
Быт славян восточных	38
Предание об основании Русского Государства	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Василий Ключевский

Краткий курс по русской истории

© ООО «Издательство АСТ», 2016







Василий Осипович Ключевский (1841–1911) – один из крупнейших представителей отечественной исторической науки второй половины XIX – начала XX в., признанный лидер Московской исторической школы и сторонник государственной теории, создавший между тем собственную оригинальную схему русской истории.

Наиболее известный научный труд Ключевского, получивший всемирное признание, – «Курс русской истории» в 5-ти частях. Ученый трудился над ним более трех десятилетий, но решился опубликовать его лишь в начале 1900-х гг. Его «Курс»

был первой и до настоящего времени единственной попыткой проблемного подхода к изложению Российской истории. Он переведен на многие языки, и по признанию зарубежных историков, этот труд послужил базой и главным источником для изучения русской истории во всем мире.

В. О. Ключевский Как художник слова

«Почти три десятка лет этот великан, без малого трех аршин ростом, метался по стране, ломал и строил, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой. Такою безудержною деятельностью сформировались и укрепились понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Тяжеловесный, но вечно подвижный, холодный, но вспыльчивый, ежесекундно готовый к шумному взрыву, Петр был – точь-в-точь, как чугунная пушка его петрозаводской отливки...»

«Государыня Елизавета Петровна была женщина умная и добрая, но женщина. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене. Строго соблюдала посты при своем дворе, и во всей империи никто лучше императрицы не мог исполнить менюэта и русской пляски. Невеста всевозможных женихов на свете от французского короля до собственного племянника, она отдала свое сердце придворному певчому из черниговских казаков. Мирная и беззаботная, она воевала чуть не половину своего царствования и победила первого стратега того времени Фридриха Великого. Основала первый настоящий университет в России – Московский и до конца жизни была убеждена, что в Англию можно проехать сухим путем. Дала клятву никого не казнить смертью и населила Сибирь ссыльными, изувеченными пыткой и с урезанными языками. Издавала законы против роскоши и оставила после себя в гардеробе с лишком 15.000 платьев и два сундука шелковых чулок...»

«На русском престоле всякие люди бывали, всяких людей он видал. Сидели на нем и многоженцы, и жены без мужей, и мужья без жен, и выкресты из татар, и беглые монахи, и юродивые, – не бывало еще только скомороха. Но 25 декабря 1761 года и этот пробел был заполнен. На русском престоле явился скоморох. То был гольштинский герцог Карл Петр Ульрих, известный в нашей истории под именем Петра III...»

Ровно сорок лет отделяют меня от тех часов в Большой Словесной аудитории Московского Университета, когда впервые прозвучали эти характеристики из уст незабвенного Василия Осиповича. Густой и толстый слой пестрейших впечатлений налег за эти сорок лет на память, и потускнела под ним далекая отгоревшая юность. А между тем, даже не закрывая глаз, я как будто вновь слышу спокойно-иронический, слегка козловатый, звонкий и сиплый вместе, «духовенный» тенор, которым они произносились; как будто вижу спокойно-ироническое лицо с умным, пристальным, но не навязчивым взглядом пронизательных глаз, склоненное с кафедры к замершей во внимании аудитории. Она, как всегда у Ключевского, конечно, битком полна слушателями, нахлынувшими и с своих, т. е. филологического и юридического, и с чужих факультетов.

Мы, студенты первых курсов, увлекались Ключевским, обожали Ключевского. Однако сомневаюсь, чтобы многим из нас было тогда ясно все огромное значение нашего любимого профессора в исторической науке. Мы гордились тем, что слушаем общепризнанный научный авторитет, но принимали этот авторитет больше на веру, как аксиому, не требующую доказательств, и не он влек нас, толпами, внимать драгоценные *verba magistri*. Осмелюсь даже предположить, что из тогдашних слушателей и обожателей Ключевского большинство не удосужилось проштудировать ни его «Древнерусские жития святых, как исторический источник», ни «Боярскую Думу Древней Руси», ни вообще трудов, характерных для него, как для тонкого исторического исследователя, одаренного в равной степени и проникновенным вдохновением

интуиции, и острою силою поверочного анализа. Мы были слишком молоды и при всем таланте Ключевского как популяризатора слишком мало подготовлены среднею школою к тому, чтобы понять и оценить его с чисто научной стороны творчества. Это пришло позже и да же значительно позже. Зато едва ли не с первых же с лов первой же лекции с кафедры Ключевского повеяло на нас живительным духом мощной художественности. Она говорила с нашими молодыми душами языком внятной и увлекательной убедительности, покоряла ум и воображение и манила нас к познанию связи событий прошлых и настоящих, как в изящной словесности «Капитанская дочка» Пушкина и «Война и мир» Льва Толстого, как в живописи исторические полотна И. Е. Репина, в музыке – композиции Мусоргского и Бородина.

Несмотря на то что первый обширный опыт русской истории, карамзинская «История государства Российского» написана большим, по своему времени, художником слова, художественность в русской историографии – редкая птица. И, до последнего времени, я сказал бы даже – птица гонимая. Карамзин художник, но он не говорил, а вещал, не писал, а начертывал на скрижалях, и создал риторскую традицию. Его преемники, ученики германцев, смешивали карамзинскую величавость и торжественность с тяжеловесным педантизмом немецких геллертеров. Писать историю важно, сухо и скучно было обычаем, равносильным закону. Под гнетущее ярмо его покорно склоняли голову даже великаны художественной речи, не исключая самого Пушкина. Ключевский, которому принадлежит блестящая оценка Пушкина как историка, совершенно справедливо указывал на тот факт, что Пушкин по преимуществу был историком там, где не думал быть им, и не был им там, где думал быть. Ключевский убежденно утверждал, что в «Капитанской дочке», написанной между делом среди работ над пугачевщиной, гораздо больше истории, чем в «Истории Пугачевского бунта», которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Но этот сухой тон «объяснительного примечания» был тогда обязателен для автора, желавшего, чтобы его труд был принят ученым миром и критикою не как дар широкой публике для легкого чтения, но всерьез. Живость речи, *образность* изложения, драматическая яркость рассказа почитались смертными грехами. Николай Полевой едва ли не на этом, главным образом, проиграл возможный успех своей «Истории русского народа». В условиях несколько более счастливой вольности почитались, «развращенные» французскими и английскими образцами, еретики профессиональной историографии, западники, посвящавшие свои труды истории всеобщей. Но даже и из их числа, о лучшем, о том, кто дал тон и приотворил дверь художественности в историческую науку, о Грановском, Некрасов впоследствии отметил, что «говорил он лучше, чем писал». И это не только потому, что «писать не время было, почти что ничего тогда не проходило». А опять: даже такую эстетическую натуру, такую художническую голову, как Грановский, одолевал страх не оказаться бы слишком литературным в ущерб серьезности. Кудрявцев был не только историк, но и беллетрист, писал недурные повести, владел техникою художественного письма. В своих популярных «Римских женщинах» он довольно энергично, хотя и в чрезмерно статуарной красноте, пересказал живым языком несколько сильных эпизодов из Тацитовых Анналов. Но возьмите его «Судьбы Италии», возьмите его «Каролингов»: они писаны как будто другим автором, умышленно погружающим интереснейшее содержание в невылазную трясиину формальной скуки. Еще более выразителен Соловьев. Ключевский был его учеником и преемником по кафедре. Он благоговел пред памятью учителя и посвятил ей несколько прочувствованных речей и статей, в совершенстве освещающих значительную личность и громадный труд автора «Истории России с древнейших времен». Нечего и говорить о том, что Соловьев – фигура огромная, исключительная, и 29 томов его истории – вечный памятник, который, хотя бы и ветшал частями, никогда не утратит своего значения совершенно. Но даже любви Ключевского приходится признать, что Соловьев имел «известность сухого историка». Ключевский защищал Соловьева от этого приговора, но с большим усердием оправдать любимого, чем с убеждением. «Это был, – говорит он о Соловьеве, – ученый со *строгой*, хорошо воспитанной мыс-

лю. *Черствой* правды действительности он не смягчал в угоду *патологическим* наклонностям времени. Навстречу *фельетонным* вкусам читателя он выходил с серьезным, подчас *жестким* рассказом, в котором *сухой*, хорошо обдуманый факт не приносился в жертву хорошо рассказанному *анекдоту*... В его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней *беллетристике* стройности изложения». Мы смело можем отнести этот суд Ключевского к редким случаям, когда он, великий разрушитель исторически недвижимых традиций, сам делался жертвою традиции. Ведь в своей защите Соловьева он в 1904 году почти дословно повторил в пространство те же предрассудочные обвинения, что, за сорок лет пред тем, старозаветные полемисты обрушивали на Костомарова. *Включительно* до злополучного «фельетонизма», – этого ужаснейшего пугала, которым педантическое гелертерство искони застрашивает мысль, слово и перо молодых историков. И, к сожалению, успешно. Настолько, что устрешенные им молодые дерзновения обычно к старости замирают и приносят покаяние, если не прямое, то косвенное. Возьмите к примеру Костомарова в его великолепных «Северных народоправствах», молодом труде, когда Погодин и другие староверы именно и попрекали его «фельетонизмом», и ругали его «рыцарем свистопляски», – и Костомарова в неудобочитаемой старческой «Руине». Что касается Соловьева, то я потому и позволил себе задержать на нем ваше внимание, что он, как бы ни заступался Ключевский, является совершенно исключительным героем самоотверженного засушения своего слова, в умышленном обнажении его от живой образности и картинного полета, хотя этот высокоталантливый и умный человек по натуре своей был к ним очень способен, как свидетельствует о том в своих ярких, выпуклых воспоминаниях В. О. Ключевский. Да и без свидетельств. Аскетическая выдержка Соловьева изумительна, но никакое насильственное воздержание не обходится без прорывов, и в безграничной степи «Истории России с древнейших времен» имеются изредка страницы-оазисы, обличающие, что бес художественности обуял новыми сладкими искушениями даже и эту подвижническую душу и внушал ей иногда прекрасные незабываемые грехопадения, вроде хотя бы знаменитой характеристики «бога ты ря-протопопа Аввакума». Любящий ученик Соловьева, В. О. Ключевский мог апофеозировать своего учителя, но не идти по его следам. Он весь – в художественности, весь – в ясном образе и метком и непогрешимо определительном слове, рождающемся естественно и своевременно из неистощимо богатых запасов русского языка, изученного в совершенстве во всех его исторических периодах. Художник мыслит образами. Именно такова речь Ключевского. Она всегда строго логическая цепь образов, прямо вытекающих один из другого, в стройной последовательности художественного эпоса, проходящего, с одинаковою силою, гамму за гаммою разнообразнейших настроений. Он весь в предметном сравнении, в живописном параллелизме или антитезе. На пути этом он смел до безбоязненности истинного мастера. Сам он решительно не остерегался «фельетонизма» и «анекдотичности», за отречение от которых так восхвалил С. М. Соловьева. Тонкий и добродушный юмор типического великорусса расширял его художественный охват до огромной растяжимости, находя себе пищу и созвучия во всех веках и обстоятельствах тысячелетней русской истории. Недаром Ключевский много занимался Пушкиным и любил его. В нем самом жила та ясная и благожелательная полуулыбка, что так характерно сопутствует пушкинскому творчеству – особенно его позднейшей прозе, – «повестям Белкина» и «Капитанской дочке». К ним В. Ос. был полон родственным сочувствием. Вспомните хотя бы защиту им столь характерного для XVIII века типа «недоросля» против гениальной комедии-карикатуры Фонвизина, которая навсегда слила для нас эту кличку с нелепым и смехотворным образом Митрофана Простакова. Защита эта (в речах Ключевского о Пушкине и в статье «Недоросль Фонвизина») на первый взгляд представляется каким-то капризным парадоксом: до такой степени мы привыкли к одностороннему сатирическому внушению полуторавекового авторитета. Но Ключевский заставил нас заглянуть за завесу, которою сатирик задернул действительность обличенного быта, – и мы увидели с удивлением и с удовольствием, что за частною правдою

обличения от нас скрылась, как лес за деревьями, другая, общая историческая, правда типа, той частной правде почти что противоположная. Митрофан Простаков есть бесспорный Митрофан Простаков, но и только. Исторически он оказывается обобщением по недостаточному количеству данных. Он принадлежит к числу «недорослей», но «недоросль» – отнюдь не то же, что Митрофан Простаков. «В исторической действительности, – говорит Ключевский, – недоросль – не карикатура, не анекдот, а самое простое и вседневное явление, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки». Почвенный слой сословия, оставшийся в стороне от шумной верхне-дворянской политики и гвардейских переворотов XVIII века. «Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительств, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века. Это пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протоптали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Суворовых и Румянцевых. Хотите вы видеть настоящих житейских „недорослей“? Обратитесь к Пушкину. „Один является в Петре Андреевиче Гринева, невольном приятеле Пугачева, другой в наивном беллетристе и летописце села Горюхина, Иване Петровиче Белкине... К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину». «Историку XVIII века, – заключает В. Ос., – остается одобрить и сочувствие Пушкина, и вкус Марьи Ивановны».



Л. Пастернак. На лекции профессора Ключевского (1909).

Подобных мнимо парадоксальных теорем, раскрывающих свою истинность чрез логическое доказательство, чрезвычайно много в наследии В. О. Ключевского. Я даже сказал бы, что это наиболее частый его авторский прием: озадачить читателя, привычного видеть на доске историографии закономерные традиции как бы шахматной игры, неожиданным ходом, который на первый взгляд является вопиющим преступлением против теории и, следовательно, обреченным на немедленное крушение; а затем, выиграв игру, доказать тем самым, что ход был не случайным, но лишь остроумно и вдохновенно найденным и глубоко обдуманым применением той самой теории, которой он, по видимости, противоречил, – однако ум творческий и оригинальный провидел в ней возможности, закрытые для ума ученического и подражатель-

ного. Мотивы к подобным смелым и удачным ходам у Ключевского часто похожи на внезапное озарение солнечным лучом забытого темного уголка, куда, по малой значительности его, никто не догадывался заглянуть, – а он, случайный луч, выявил, что там лежит клад. Об Евгении Онегине русская критика и история литературы написали и напечатали многие тома ценных комментариев, рассуждений, трактатов – психологических, эстетических, философских, публицистических. Все выпуклые места типа, казалось бы, освещены и исследованы, все его глубины измерены и разносторонне описаны или догадливо предположены. Но вот подходит к теме историк-художник Ключевский, обязанный произнести речь в торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности по поводу исполнившегося пятидесятилетия со смерти Пушкина (1887 г.). Он доволен случаем. О Пушкине ему, по собственному его признанию, «всегда хочется сказать слишком много, – всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует». Но что же именно выберет он из неизмеримого богатства Пушкинских задач? Что – достойное Пушкина, своего собственного авторитета, важности поминальной даты и интеллигентной публики, собравшейся, чтобы услышать из уст любимого оратора, конечно, не заезженные и шаблонные хвалы общепризнанному великому мертвецу, но новые живые слова? Ключевский пробегает в своей огромно цепкой памяти «Онегина», зная его, конечно, наизусть. И ему не приходится идти далеко. Уже во второй строфе первой главы:

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всеvyšней волею Зевеса
Наследник всех своих родных –

четвертый стих, такой, казалось бы, незначительный, такой проходящий, такой житейски прозаический, останавливает внимание нашего художника... – Наследник всех своих родных?.. «Такой наследник обыкновенно последний в роде...» Значит, «у Онегина была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими нравственные и умственные вывихи и искривления...» А ну-ка, посмотрим их... И вот из случайного луча света, упавшего на вырванный из строфы стих, родится один из самых стройных, логических и поэтических этюдов Ключевского – «Евгений Онегин и его предки»... Громадный диапазон осведомленности В. О. Ключевского о душе, языке и жизни русского человека во всех периодах его истории как бы уничтожал для его художественной приглядки время и пространство, позволяя ему открывать психологические сближения событий и характеров, разделенных целыми веками, часто, казалось бы, в непримиримой разности культур; а вот, однако, – доказывал Ключевский, – соединенных несомненною генетическою связью, которую он и выяснял незамедлительно с неподражаемым мастерством. Я живо помню шепот удивления, зашелестевший по актовому залу Московского университета в публике пушкинского праздника 6 июня 1880 года, когда Вас. Ос. открыл нам, что первого русского Онегина звали, двести лет тому назад, А. Л. Ордин-Нащокиным. Что этот администратор и дипломат Тишайшего царя, делец и умница XVII века, подобно всем типическим сынам, внукам и правнукам своим, включительно до «последнего в роде», скупающего бездельно Евгения, был уже обречен трагикомедией существования «русского человека, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им». Трагикомедии «типического исключения», как нашел в высшей степени меткое определение Вас. Ос. Трагикомедии смущать общество, и свое и чужое, как явление, стороннее и тому и другому, как «чужак опасный и печальный»: другой стих из «Онегина», полюбившийся Вас. Ос. в качестве руководящей нити.

Возьмем другой пример смелого сближения в веках. Одна из самых глубоких и содержательных статей Ключевского о русской литературе носит заглавие «Грусть». Посвященная

памяти Лермонтова, она в особенности полна столь свойственным автору, озадачивающим мнимым парадоксализмом. Мы привыкли видеть в Лермонтове разочарованного поэта-байрониста, отрицателя, бунтаря, богоборца, небезопасного воспламенителя юных умов протестующим воплем мировой скорби. А Ключевский весьма хладнокровно докладывает нам: «Нет, это все вздор, научный мираж, оптический обман; напротив, произведения Лермонтова как раз чудесный педагогический материал для воспитания юношества. После старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста без преждевременных возбуждений, и притом не в наивной форме басни, а в виде баллады, легенды, исторического рассказа, молитвы или простого лирического момента». Шаг за шагом уводит Ключевский Лермонтова из демонической «стихии собрания зол», лоскуток за лоскутком сдирает с его лица прилипшую байроническую маску, удар за ударом ампутрует его «гусарский мефистофельзм», скептически отказывает ему и в праве, и в возможности разочарования – и резюмирует выводом: «Лермонтов – поэт не мирозерцания, а настроения, певец личной грусти, а не мировой скорби». Глубоко прочувствованная и мастерски изложенная классификация понятий скорби, печали и грусти, антитеза их со счастьем – торжество Ключевского в области психологического анализа. Искусно и твердо, стальной рукою в бархатной перчатке подводит он автора «Родины», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю» под уровень той светло-грустной русской «резиньяции», которая, в нашем покладистом национальном характере, за отказом от невозможного и недостижимого земного счастья, стала его заменой, как улыбка сквозь слезы, а в несчастье – силою упования, сдерживающего отчаяние. Но ведь это же, раскрывает тогда Ключевский карты свои, – грусть древнерусского христианского общества – та самая практическая христианская грусть, которую неподражаемо просто и ясно выразил истовый царь Алексей Михайлович, когда писал, утешая одного своего боярина в его семейном горе: «И тебе, боярину нашему и слуг, и детям твоим черезмеру не скорбеть, а нельзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневить». Что может быть неожиданнее встречи этакого, западом воспитанного, революционера духа, каким считал себя и нас заставил считать Лермонтов, с Алексеем Михайловичем, Тишайшим царем, «лучшим русским человеком XVII века», по характеристике того же Ключевского? И где же встреча? В храме христианской резиньяции, с начертанною на фронтоне формулою – «Да будет воля Твоя»! Ее Ключевский почитал основною в быту и истории русского народа и – по твердо провозглашенному мнению его – «ни один русский поэт не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов».

Я не знаю, обращал ли Вас. Ос. когда-либо свою художественную мощь на чисто художественные задачи, уклонялся ли он от научно-исторического труда в область исторического романа, повести, поэмы, как это делал, например, Костомаров. Печатных трудов такого рода по нем, во всяком случае, не осталось. На страницах его произведений мы нередко встречаем сожаление автора, что то или иное событие эпохи, та или другая историческая фигура, тот или иной общественный тип не нашли себе художественного обобщения, остаются не воплощенными словесным искусством. Я должен сознаться, что подобные сожаления Ключевского обыкновенно вызывают меня на недоверчивую улыбку. Потому что – была ли то настоящая авторская скромность или ложная, с некоторым кокетством себе на уме, но, словно нарочно, сожаления всегда следуют как раз за самыми блестящими страницами его знаменитых исторических характеристик. В силе, яркости и художественной внушительности их у Ключевского нет соперников ни в русской, ни в европейской исторической литературе. Его часто сравнивали с Маколеем, но, по-моему, характеристики русского историка имеют преимущество в сжатости, в умении немногим сказать много, коротким выразить долгое. Ключевский более Маколея знал и помнил меру живописности и никогда не позволял ей овладеть

его пером до превращения из средства в самодовлеющую цель, что у английского историка – не в редкость. Когда мы, выслушав сожаление Василия Осиповича, читаем затем его характеристики царя Алексея Михайловича, Петра Великого, преподобного Сергия, Ульяны Осориной, Федора Ртищева, предков Онегина, – невольным является вопрос: какой же еще художественности ищет этот мастер после рельефов, им отлитых? Куда здесь идти еще дальше? и от кого он может ее ждать больше, чем от самого себя? И, право же, сожаление начинает звучать скрытно-насмешливым вызовом, тою типическою московскою хитрецою, что любит-таки прикинуться простотою и смиренничает, в тайном сознании своей непобедимой силы. Сидит москвич, щурит невинные глаза, пощипывает козлиную бородку и поет скромным голоском: «Мы люди маленькие, едим пряники не писанные, где уж нам, дуракам, чай пить, так себе – кружимся полегоньку при своем ремесле, – и за то скажи спасибо... А вот ежели бы вы, богатыри...» Но если иной легковёрный богатырь, пленившись лукавым московским смирением паче гордости, примет вызов и ринется на предложенное ему состязание, – как же он обожжется, несчастный!

Область русской исторической словесности и поэзии, включая и драму, вообще очень пустынна и плоска. За исключением громадных вершин Пушкина и Льва Толстого, мы в ней даже и пригорков имеем немного, а больше все ровная гладь. Отчасти этому причина, может быть, та, что – по злему выражению В. О. Ключевского, которое от него перенял и любил повторять покойный М. М. Ковалевский:

– Русские Вальтер Скотты вообще очень плохо знают историю. Исключение составляет только граф Сальяс. Он... совсем не знает истории!

Однако кандидатуру в русские Вальтер Скотты выставляли иногда люди, которые историю очень и очень знали, не хуже даже того, кто изрек этот насмешливый, но справедливый приговор. Вспомним Костомарова с его «Холуем», «Сыном» и «Кудеяром». Он-то уж, конечно, обладал в полной мере тою привычкою переноситься памятью в обстоятельства и воображением в обстановку прошлого, которая создает исторического романиста. Задатки художественности в нем также были, – недаром же смолоду его столько травили за «фельетонизм», т. е. общедоступную яркость его лекций. Может быть, когда в старости Костомаров убедился этими нареканиями, что писать ученые труды надо скучно, а тайная потребность в окаянном «фельетонизме» в нем все-таки жила, он и стал избывать ее историческими романами и повестями. Но русского Вальтер Скотта и из него не вышло. Если он поднялся выше уровня Данилевского, Мордовцева, Сальяса, Всеволода Соловьева и тому подобных, то лишь страницами любопытных археологических описаний. Художественности же в его исторической словесности несравненно меньше, чем в иных молодых трудах его же историографии. Укажу хотя бы на главы о Мстиславе Удалом, о Ваське Буслаеве из «Северных народоправств». Так что, очевидно, не только в знании здесь дело.

Я не охотник до гаданий и не задамся вопросом, мог ли бы или нет Вас. Ос. Ключевский сделаться русским Вальтер Скоттом, если бы пришла ему к тому охота. Но знаю, что каждая характеристика, созданная Ключевским, до такой степени законченно и совершенно исчерпывала психологическое содержание личности, типа, эпохи, слагала такую цельную и неопровержимо убедительную фигуру, что вдвинуть ее в роман или драму после картины Ключевского было бы непосильным делом для художника средней руки. Да! уж чего же интереснее было бы видеть и следить, как короткие три-четыре странички Ключевского развиваются действием на протяжении целого тома или четырех-пяти действий сценического представления! Но ведь это почти то же самое, что требовать: напиши новую «Капитанскую дочку», «Войну и мир», Шекспирову хронику, «Саламбо» Флобера, «Пармскую шартрезку» Стендаля. Мереж-

ковский сравнительно крупный приговор на глади русского исторического романа. Это писатель и талантливый, и знающий. Но я никому не посоветую готовиться к прочтению его «Петра и Алексея» по соответственным лекциям и статьям Ключевского. Иначе вас постигнет вместо удовольствия, на которое вы вправе рассчитывать, большое разочарование: историк-то показывал вам живые лица, хоть рукою их щупай, а романист (а тем паче драматург) показал только сработанные опытною рукою «живули» – движущиеся фигуры-автоматы.

Отличительные свойства характеристик Ключевского – простота средств, ясная стремительность темпа и быстрая находчивость в образе – еще и еще сводят его с Пушкиным. Ключевский находил, что чуть ли не все фигуры, сохранившиеся для нас в мемуарах XVIII века, укладываются по категориям в галерею пушкинских типов в «Арапе Петра Великого», «Дубровском», «Капитанской дочке». Он пробежал эту галерею из конца в конец на пятнадцати страницах «Евгения Онегина и его предков» и, с быстротою кинематографического фильма, успел на таком коротком расстоянии провести пред нашими глазами все фазисы и смены европеизации русского дворянина за двести лет, – от первобытного «Нелюб Злобина, сына такого-то» до «москвича в Гарольдовом плаще». Безграмотный предок Нелюб-Злобин; сын его – выученик латинской школы Спасского монастыря на Никольской в Москве; внук – навигатор, птенец Петра Великого; правнук – офранцуженный вольтерианец; праправнуки, из которых старший брат – сознательный патриот в эпоху Наполеоновских войн и будущий декабрист; средний брат – будущий бюрократ-западник, который, отбыв годы разочарования в патриотизме при Александре I, успокоился в казенном делечестве при Николае I; а третий, младший брат – «поэтическое олицетворение нравственной растерянности» – и есть Евгений Онегин. В сменах этих Ключевский не дал ни одного частного портрета; все они созданы в порядке художественного вымысла; для «типического исключения» – типическое обобщение. Но как же изображены все эти несчастные сменники, вечно и фатально учившиеся не тому, что впоследствии заставляла делать их быстро несущаяся жизнь, – почему они, со своим образованием и воспитанием некстати, неизменно, из поколения в поколение, не выходили из положения того сказочного чудака, который пел «Со святыми упокой» на свадьбе и «Исаия ликуй» на похоронах, за что и претерпевал жестокие неприятности. В мягком свете любвеобильного юмора вымысел оделся в плоть и кровь, вы принимаете его воображенных героев, как своих добрых знакомых и друзей, и вам неважно, что Ключевский даже не заботится их окрестить какими-нибудь именами. В итальянских картинных галереях вы часто видите на полотнах художников позднего Возрождения портреты неизвестных лиц, которые, однако, ценятся и знатоками искусства, и историками культуры больше, чем даже заведомые портреты лиц исторических. Потому что эти изображения неведомых, начертанные Тицианом или Бордоне, утратив свои имена и личность, перестали выражать индивидуальность в эпоху, а сделались как бы собирательным зеркалом характерных черт, портретом самой эпохи. Вот именно такова и словесная живопись в анонимах Ключевского. Мне очень жаль, что время не позволяет мне восстановить в вашей памяти цельностью один из этих превосходных отрывков. Вспомним хоть вкратце злополучного латиниста, которого киевский старец в Спасском монастыре наставил под батогами по греческим и польско-латинским, писанным русскими буквами, словарькам великой премудрости, что «ликос» есть «волк», «луппа» – «волчица», «спириды» – «лапти» и т. д.

Выучил писать хитрые вирши и предлагать в них акафисты и церковные песнопения. «Но время шло, разгоралась Петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всю грамотичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?..» А птенец Петра Великого, навигатор, воодушевленный идеями его

реформы? Он имел несчастье опоздать, – вернулся из заграницы в Петербург, когда Петр умер и до реформы уже никому не стало дела, но высшее общество дорого платило немцу за то, что в барабан бил и на голове стоял. Неудачник мечтал служить России, а попал – в бироновщину. «Раз на святках он отказался нарядиться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чертом и в очень прохладном костюме заставили простоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскаленные иглы и калеккой отпустил в деревню, где он, при малейшем промахе дворовых, выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: „Ах вы, растрепоганые, растрекоаянные, не питанные, не мученные и не наказанные!“ Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция „Жизнь Александра Македонского“ в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных ливреях и напудренных волосах; страдая бессонницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водою нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезенные им из Голландии математические и навигационные познания остались без употребления»... Какой твердый, ясный рисунок, господ! какая яркая и вместе с тем естественная красочность! Разве это не тон большого природного романиста? Больше того: разве это не тон автора «Капитанской дочки» и летописца села Горюхина?

Досюда мы говорили о крупных, законченных характеристиках нашего художника. Но, как в мастерской Репина бесчисленные этюды часто бывают не менее, а иногда даже более интересны, чем выработанная затем из них картина, так точно и в мастерской Ключевского чрезвычайно любопытно следить за проходящими, как бы мельком бросаемыми, случайными ударами и мазками кисти. Очень часто он отделяется от какой-либо попутной исторической встречи одною характерною фразою, кличкою, цитатою, в два-три слова. Самим ли Ключевским остроумно измышленные, метко ли заимствованные им из летописи, мемуара, литературного или законодательного памятника, они припечатывают то тот, то этот лоб, как неизгладимые клейма. «Обезьяна да нездешняя» (придворный Екатеринына века); «припадочный человек» (самодур Троекуров в «Дубровском»); «просвещенные лунатики» (люди начала царствования Екатерины II); «умный ум» (о Екатерине II); «запоздалая татарщина» (эпоха Бирона); «иностранный и враждебный колониальный на Русской земле» (Петербург при Бироне); «богородное жестокое житие» (о расколоучителе Капитоне); «наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям» (о генерале Патрике Гордоне); «*возница*, который что есть мочи настегивает свою загнанную исхудалую лошадь, а в то же время крепко натягивает вожжи» (Петр в финансовой политике); «многомысленная и беспокойная глава» (Петр); «первый трагик странствующей драматической труппы, угодивший в первые генерал-прокуроры» (сотрудник Петра, неистовый Ягужинский); «Новая Паллада в кирасе поверх платья, только без шлема, и с крестом в руке вместо копья, без музыки, но со своим старым учителем музыки Шварцем» (Елизавета в ночь переворота); «принцесса совсем дикая» (Анна Леопольдовна); «генералиссимус русских войск, в мыслительной силе не желавший отставать от своей супруги» (муж Анны Леопольдовны, Антон Ульрих Брауншвейгский); «управляли и жезлом, и пырком, и швырком» (Долгорукие при Петре II); «старый Дон Кихот отпетого московского боярства» (верховник Голицын); «самая веселая и приятная из всех известных, не стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция» («петербургское действие» 1762 г., низвержение Петра III Екатериною II). И так далее. Все эти короткие отметки золотыми иглами входят в память и оставляют в ней вышитый узор уже навсегда прочным и нелиняющим.

Разбросанные в моем чтении отрывки дают нам достаточный материал для суждения о языке Ключевского. Как и пушкинская проза, это язык настоящего, природного великоруса, одаренного исключительно тонким чутьем к законам и требованиям своей родной речи. А потому он чрезвычайно прост и легок. По крайней мере, повидимости. Потому что в действительности-то, как выразился однажды Вас. Осип., – «легкое дело тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить – тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово – что походка: один ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит». Это физиологическая «гармония мысли и слова» может быть развита и изощрена научным изучением языка (в чем, конечно, у Ключевского было тоже немного соперников на Руси), но едва ли искусственное приобретение здесь в состоянии когда-либо достигнуть уровня свободы и богатства владения наследственного, естественного. В настоящее время в России чрезвычайно много писателей из инородцев, которые, однако, изучили русский язык лучше кровных русских, великие знатоки грамматики и стилистики, чуть не наизусть выдолбили Далев словарь от аза до ижицы, и все-таки, за весьма редкими исключениями, – такими редкими, что, по правде сказать, я их почти не знаю, – русское ухо слышит в их чистой, красивой, изощренной, щегольской речи чуждый себе строй и звук. Что же касается литературного щегольства богатством языка, то в последние два десятилетия это, – казалось бы, по существу, – несомненное достоинство мало-помалу начинает обращаться в весьма неприятный порок. С одной стороны, школа последователей Лескова, с другой – сильно развившаяся этнографическая беллетристика наводнили литературный язык перегрузом безнужных неологизмов, барбаризмов и в особенности провинциализмов, – так что за ними совершенно исчезает иногда естественное течение литературной речи. Сейчас не диво встретить рассказ или повесть, для точного разумения которого русский читатель должен на каждой странице раза по два заглядывать в толковый словарь Даля (академический не в помощь, потому что доведен только до половины алфавита). И это даже модно, именно этим создано несколько довольно громких имен. В действительности такие щеголи языка очень напоминают тех франтов дурного тона, что унижают перстнями с брильянтами и самоцветами (а то и стразами) немые пальцы и шикарнейшим костюмом по последней моде прикрывают чуть не полное отсутствие белья. Это не богатство языка, а маскировка его скудости подложною выставкою, декоративно рассчитанною на близорукость, неразборчивость и малое осведомление публики. Лесков хороший писатель, но лесковщина – дело весьма плачевное, так как обычно ее представители, не унаследовав ни одного из внутренних литературных достоинств покойного Николая Семеновича, наивно или умышленно принимают за них его внешние недостатки, из них же первыми были преднамеренная вычурность и кривляние словом. Но и тут орловца Лескова выручало, а иной раз даже и оправдывало великолепное естественное знание и чутье великорусской речи, тогда как маленькие современные Лесковы танцуют свои словесные па и коленца, не выучившись раньше трем позициям. Нет ничего легче, как, вооружившись словарем Даля или каким-нибудь областным, либо древнерусским, механически нахватать хлестких и замысловатых речений и, подставив их, где надо, в порядке синонимов, состряпать затейливую амальгаму, которою читатель «весьма изумлен бывает» и добродушно принимает ее за настоящую «стилилизацию». Брильянты и даже стразы слепят глаза, но истинно богатые и хорошего тона люди не делают из себя брильянтовой выставки, а тем более стразовой. Отчего знатоку не побаловаться иной раз – не написать записки, письма, маленькой статейки, притчи, фельетона языком Несторовой летописи, Слова о полку Игореве, Котошихина, Ломоносова, Карамзина, либо каким-нибудь местным наречием? Подобных фокусов в архивах русской письменности немало – и, к слову сказать, покойный Вас. Осип. был на них сам великий мастер и большой ценитель этой способности в других. Я лично когда-то, лет двадцать тому назад, имел удовольствие развеселить его повествованием о финансовых неудачах графа Витте, изложенных языком Несторовой летописи. Но посвятить себя такому

словесному канатохождению специально и предаваться ему с серьезной и многозначительной миной священнодействующих жрецов – цель и упражнение более чем сомнительные. Это даже не лесковщина, но – Лейкин наоборот. Богатство языка должно чувствоваться, как скрытый натуральный запас, в фундаменте литературного здания, а не лепиться по его фасаду бесчисленными розетками и завитками аляповатых украшений. И вот это-то чувство меры в пользовании своим словесным миллионом и есть коренное качество языка Ключевского. Несмотря на то, что, казалось бы, самый предмет толкал его, русского историка, ежеминутно к излишествам – смотрите, как он экономен и сдержан, и именно поэтому каждый раз, когда он являет свой словесный капитал, как он тогда эффектен и выразителен! Его архаизмы – никогда не франтовство, не фатовство, но – органическая потребность изложения. Уместностью одного такого, из существенной глубины предмета выхваченного словечка Ключевский наполняет колоритом картину в несколько страниц, но он брезгует «выезжать на колорите». Очень редко оставляет он внеобычное слово без объяснения, откуда оно взялось и почему ему понадобилось. Почему нынешний «взгляд на вещи» для масонов века Екатерины лучше определяется тогдашним словом «умоначертание»; почему развитие характера Екатерины укладывается в «самособранность»; что значит «огурство» недорослей XVII века, когда они «в службу поспели, а службы не служили» – «огурялись», «лыняли», как говорили тогда про служебных дезертиров и саботажников, живших девизом: «Дай Бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать». Таким экономным, осторожным, умелым и всегда мотивированным вкраплением Ключевский создал синтез языка – тысячелетнего древа, по которому растекается мыслью русское слово, сближая поверхность его с глубинами, новую листву с старыми корнями. Зачем чрезмерно обнажать старые корни? С того дерева только сохнет. Деревья говорят с нами шумом листьев своих, а не торчанием вверх вывернутых корней. Но надо, чтобы шум листьев говорил чуткому уму о всей совокупности дерева – и о ветвях, и о стволе, и о зарытом глубоко в землю питателе-корне. Вот этого-то счастливого результата и достигал Василий Осипович.

Мы, русские, народ, очень небрежный к своим большим людям, плохо бережем их при жизни, а по смерти их удивляем мир своей неблагодарностью к их памяти. Хороших покойников у нас обыкновенно помнят, покуда колокол звонит да вдова плачет. Однако Вас. Ос. Ключевский и в этом случае оказывается счастливым исключением, что свидетельствует уже вот этот переполненный публикой зал собрания в честь его имени; что свидетельствует усердный спрос на собрание его сочинений. Переизданное в 1919 году Комиссариатом по народному просвещению в огромном количестве экземпляров, оно уже опять обратилось в библиографическую редкость. Нет сомнения, что, найдись мы в сколько-нибудь нормальных типографских условиях, Ключевского можно было бы бесстрашно издавать еще и еще, как издаются Пушкин, Толстой, Лермонтов, Чехов. Это очень утешительное явление, почти неожиданное в грустных условиях наших переживаний. Между нами и кончиной Ключевского легло десять лет, – и каких лет! Даже мрачное из мрачных начало XVII века, столь отчетливо изученного и изображенного покойным историком, уступало нашим временам по хаосу, разброду, нужде, растерянности и общему ужасу жизни. Если мы, даже в таком апогее смутного времени, не разучились помнить и любить Ключевского, значит, крепко он нам нужен, значит, жизнь его среди нас не кончилась могилой, но будет еще долга, может быть, вечна. А это не только отрадный знак, но и отрадное знамение – в своем роде прорицание. Любить Ключевского, – в его ли исторических идеях, в его ли художестве, – значит тянуться сердцем и умом к национальному чувству, к национальному самосознанию, к национальному творчеству. Бесчисленные и часто жестокие усилия употреблены политической современностью для того, чтобы низвести национальную идею с пьедестала, обратить ее в безразличность, довести до упразднения и забвения. Самое слово «отечество» сейчас допускается не иначе, как с эпитетом «социалистическое», принципиальный интернационализм которого стоит в рез-

ком логическом противоречии с идеей «отечества» и, следовательно, обращает ее в неосуществимый абсурд. И вот – в такое-то время, в таких-то политических и социальных условиях, под дирижерскою палочкой таких-то капельмейстеров нашего быта, – кто же все-таки оказывается властителем наших дум, желанным учителем, любимым художником? Человек, который был весь, душою и телом, чисто национальная ткань; для кого полуотверженное слово «отечество» было святейшим исповеданием веры; кто в мысли и деятельности своей бывал иногда, может быть, даже слишком националистом. Нет страницы у Ключевского, которая идейно могла бы быть приятна интернационалисту, – тем не менее Третий интернационал нашел необходимым переиздать его сочинения чуть ли не в первую очередь классиков. Нет страницы у Ключевского, в которой бы он являлся угодником Западной Европы, однако Западная Европа знает, уважает и высоко ценит Ключевского. Поскольку это зависит от научных его заслуг, выясняют вам сегодня другие компетентные ораторы. Я же, подходя к вопросу лишь со стороны художественной, вижу здесь торжество старого, но вечно твердого, хотя и парадоксом звучащего, положения, что в искусстве интернациональным делается только то, что по существу своему совершенно национально. Ключевский оправдывает эту истину вместе с Пушкиным, Толстым, Достоевским, Мусоргским, Бородиным. Вместе с ними, он – наш вечный спутник, своею национальною оригинальностью растворяющий пред нами двери в международность. Громадный посмертный успех Ключевского – лестный аттестат не только для совершенного им огромного подвига, но и для русского общества. Свидетельство того, что русскому человеку по-прежнему дорого его самосознание. Значит, не все еще вытравлено и разменяно. Жива еще и властна в нас некая внутренняя – великая и таинственная – церковь русского духа, и обаятельные ее служения – залог того, что заветы ее могут замирать, но не умирать, и простоят она вечно, и «врата адовы не одолеют ю».

Ал. Амфитеатров, 1921. V. 26.

Краткий курс по русской истории

Природа восточно-европейской равнины

В географическом очерке страны, предпосылаемом общему обзору ее истории, необходимо отметить те физические условия, которые оказали наиболее сильное влияние на ход ее исторической жизни.

Две особенности отличают Европу от других частей света и от Азии преимущественно: 1) *разнообразие форм поверхности*, 2) *чрезвычайно извилистое очертание морских берегов*. Нигде горные хребты, плоскогорья и равнины не сменяют друг друга так часто, на таких сравнительно незначительных пространствах, как в Европе. Здесь на 30 кв. миль материкового пространства приходится 1 миля морского берега, тогда как в Азии 1 миля берега приходится на 100 кв. миль материкового пространства. Наиболее типичной представительницей этих особенностей Европы является южная часть Балканского полуострова, древняя Эллада: нигде море так не избородило берегов, как с восточной ее стороны; здесь такое разнообразие в устройстве поверхности, что на пространстве каких-нибудь двух градусов широты можно встретить почти все породы деревьев, растущих в Европе, а Европа простирается на 36 градусов широты. Европейская Россия не разделяет этих выгодных природных условий Европы или, точнее, разделяет их в одинаковой степени с Азией. Море образует лишь малую долю ее границ; однообразие – отличительная черта ее поверхности. На огромном протяжении это – равнина, волнообразная плоскость в 90 000 кв. миль, т. е. площадь, равняющаяся более чем 9-ти Франциям и очень немного сравнительно приподнятая над уровнем моря. Даже в Азии, среди ее громадных сплошных пространств одинаковой формации, такая равнина заняла бы не последнее место: так, Иранское плоскогорье почти вдвое меньше ее. В довершение сходства с Азией эта равнина на юге переходит в обширную маловодную и безлесную степь тысяч в 10 кв. миль, приподнятую всего саженой на 25 над уровнем моря. По геологическому строению эта степь совершенно похожа на степи Азии, а географически она составляет их прямое, непрерывное продолжение, соединяясь с азиатскими степями широкими воротами между Уральскими горами и Каспийским морем и простираясь сначала широкою, а потом все суживающейся полосой по направлению к западу, мимо морей Каспийского, Азовского и Черного. Это как бы азиатский клин, вдвинутый в Европейский материк и тесно связанный с Азией исторически и климатически. Урало-Каспийскими воротами издавна хаживали в Европу азиатские кочевые орды. Умеренная Западная Европа не знает такой изнурительной летней жары и таких страшных зимних метелей, какие бывают здесь, а последние заносятся сюда из Азии.

Климат. От однообразия формы поверхности в значительной мере зависит и *климат* равнины. На огромном пространстве от линии Вайгачского пролива (Югорского Шара), почти под 70° с.ш., до 44° с.ш. идущего по северному предгорью Кавказского хребта, мы ожидаем резких климатических различий. По особенностям климата наша равнина делится на 4 климатических пояса: *арктический*, по ту сторону Северного полярного круга, *северный*, или холодный, от 66.5° до 57° с.ш., *средний*, или умеренный, охватывающий центральную полосу равнины (57°–50°), и *южный*, теплый, или степной. Но климатические особенности этих поясов гораздо менее резки, чем на соответствующем пространстве Западной Европы; однообразие формы поверхности делает климатические переходы более постепенными. В Европейской России нет значительных гор меридионального направления, которые производили бы резкую разницу в количестве влаги на их западных и восточных склонах, задерживая облака, идущие со стороны Атлантического океана, и заставляя их разрешаться обильными дождями на западных склонах; нет в России и значительных гор поперечного направления, идущих с запада

на восток, которые производили бы значительную разницу в количестве теплоты на севере и на юге от них. Ветры, беспрепятственно носясь по всей равнине, сближают в климатическом отношении места, очень отдаленные друг от друга по географическому положению. Моря, которые окаймляют Россию с некоторых краев, производят слабое действие на климат внутреннего пространства страны; из них Черное и Балтийское слишком незначительны, чтобы оказывать заметное влияние на климат такой обширной равнины, а Ледовитый океан со своими глубокооврезуемыми заливами на большую часть года остается подо льдом, перестает быть морем. Если вы взглянете на карту Европы, на которой обозначено распределение теплоты, то заметите, что изотермы, чрезвычайно изогнутые на западе, заметно выпрямляются по направлению к юго-востоку, как только заходят в пределы нашей равнины.



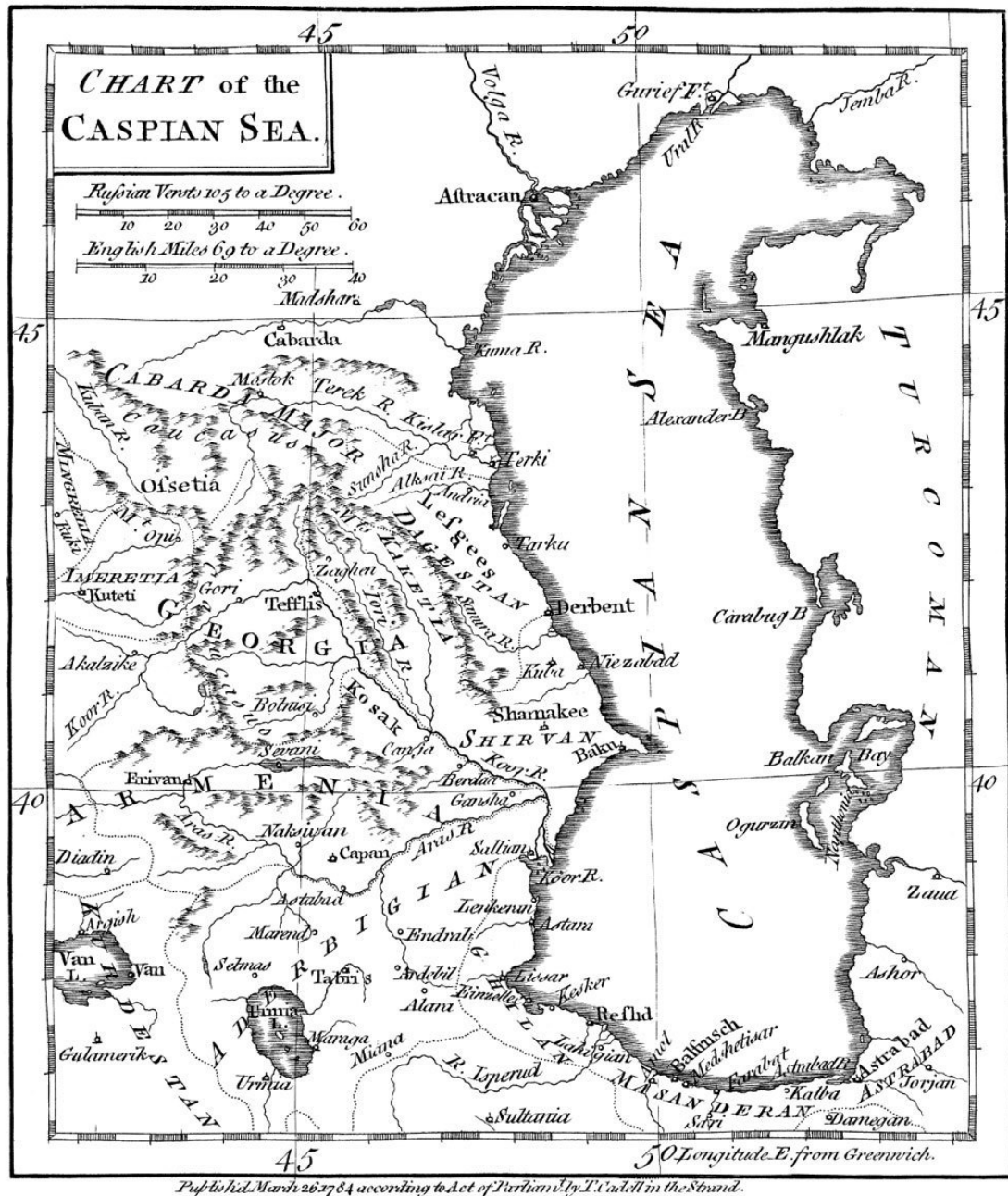
К. Бааде. Родина варягов

Описанная форма поверхности страны объясняется *геологическим* ее происхождением. Ее поверхность состоит из рыхлых наносных пластов, покрывающих гранитную площадь; на них лежат холмы, которые и придают равнине волнообразный вид. Эти пласты, состоящие из смеси песка и глины, лишены в южной части равнины всякой плотности, становятся зыбучими. На обширном пространстве нашей равнины эти пласты имеют такое однообразное строение, которое заставляет предполагать и одинаковое их происхождение. В этих наносных слоях находят стволы деревьев, остовы допотопных животных, а по степи рассеяны каспийские раковины. Все эти признаки заставили геологов предположить, что наша равнина, если не вся, то на большей части своего протяжения, была некогда дном моря, отступившего с нее сравнительно в позднее время. Берегами этого моря были горы Карпатские и Уральские, чем и объясняется присутствие больших залежей каменной соли в этих горах. Воды, покрывавшие равнину, отступили в обширный водоем, называемый Каспийским морем. Отступление это, вероятно, произошло вследствие понижения дна этого моря. Осадки, отложившиеся при отступлении моря, и образовали те однообразно расположенные глинисто-песчаные пласты, из которых состоит почва нашей равнины. Геологи думают даже, что море отступило не сразу, а в два приема; они находят признаки того, что северный берег этого моря шел некогда приблизительно по 55° с.ш., т. е. немного южнее впадения Камы в Волгу. Потом это море

отступило к югу еще градуса на четыре, и его северным берегом стал Общий Сырт, острог, идущий от южной оконечности Уральского хребта и перерезывающий Волгу между Саратовом и Царицыном. Геологи думают так, основываясь на резкой разнице почвы и флоры по северной и южной сторонам Общего Сырта, а также на том, что уровень страны на юге от него значительно ниже, чем на север.

Несмотря на такое однообразие равнины, всматриваясь в нее пристальнее, можно заметить некоторые местные особенности, которые, по-видимому, также тесно связаны с геологическим происхождением страны и имели большое влияние на ее историю.

Почва. Обозначенное пространство между 55° с.ш. и линией Общего Сырта, раньше освободившееся от моря, почти совпадает с полосой наиболее толстого чернозема на нашей равнине. Этот чернозем, как думают, образовался вследствие продолжительного гниения обильной растительности, вызванной здесь благоприятными климатическими условиями. Между тем пространство на юге от линии Общего Сырта, образующее степную полосу и позднее вышедшее из-под моря, успело покрыться лишь тонким растительным слоем, лежащим на песчаном солончаковом грунте, оставшемся от ушедшего моря. Ближе к Каспийскому морю, в степях астраханских, почва лишена и такого тонкого слоя, и солончаки прямо выступают наружу. Если южные понтийские степи еще обильны травой и в некоторых местах даже производят хлебные растения, то на прикаспийской низменности встречается только слабая солончаковая растительность. Но даже и травянистая южная степь по тонкости растительного слоя не в силах питать древесные породы. В этом главная причина безлесия степной полосы. Таким образом в южной полосе уцелели признаки ее геологического происхождения. Вид и состав почвы прикаспийской степи заставляет предполагать, что отлив моря с нашей равнины завершился сравнительно поздно, может быть, даже на памяти людей, в историческую эпоху. Постепенная убыль морей Каспийского и Аральского продолжается и доселе. Не сохранилось ли смутное воспоминание об этом перевороте в известиях древнегреческих и средневековых арабских географов, – известиях, представляющихся на первый взгляд нелепыми, – будто Каспийское море некогда соединялось с одной стороны с Северным океаном, а с другой – с Азовским морем? Последнее очень похоже по своему очертанию и характеру на остаток пролива, быть может, некогда соединявшего Каспийское море с Черным.



Карта Каспийского моря. Гравюра конца XVIII в.

Таким образом геологическое строение разделило нашу равнину на две ботанические полосы, *лесную* и *степную*, которые имели сильное влияние на историю нашего народа. Отлив моря с южной части равнины произошел по склону, какой она делает к морям Черному и Каспийскому; и степной характер страны в этой части усиливается в том же юго-восточном направлении. Чем позднее вышло дно моря из-под воды, тем слабее, тоньше растительный слой, которым оно успело покрыться. Его северо-западный край обнажался раньше северо-восточного, так что северный берег отливавшего моря наклонялся к югу в западной своей части более, чем в восточной. И степная полоса имеет такое же очертание: она наиболее расширена с юга к северу в восточной своей части у Урала и постепенно суживается к западу, упираясь клином в низовья Дуная. К этой степной полосе с севера и северо-запада примыкает широкая полоса леса, образовавшегося здесь вследствие более раннего выхода этой полосы из-под моря и вследствие более прочного растительного слоя, ее покрывшего. Эта полоса леса делится

по характеру почвы и растительности на две части: чернозем на юге питает *лиственный* лес; суглинок, который преобладает в составе почвы далее на север, производит лес *хвойный*. Здесь равнина делает подъем в северо-западном направлении. Этот подъем носит название *Алаунского плоскогорья*, которое далее к северо-западу переходит в *Валдайскую возвышенность*, состоящую из группы холмов от 800 до 900 фут. высоты; только некоторые холмы достигают до 1000 футов.

Реки. Валдайская возвышенность имеет весьма важное *гидрографическое* значение для нашей равнины: она служит ее гидрографическим узлом. Из озер, залегающих между ее холмами, берут начало главные реки, текущие в разные стороны по равнине, – Волга, Днепр, Западная Двина. Алаунское плоскогорье составляет центральный водораздел нашей равнины и оказывает сильное влияние на систему ее рек. Наша равнина не обделена почвенной водой сравнительно с Западной Европой; обилие вод в ней зависит частью также от формы ее поверхности. В углублениях между холмами остались обширные скопы вод, которые поддерживаются атмосферными осадками. Урал задерживает облака, идущие со стороны Атлантического океана, и заставляет их изливаться обильными дождями над нашей равниной. Рыхлость почвы дает возможность водам в этих скопах находить выходы в разные стороны, а равнинность страны позволяет этим рекам принимать самое разнообразное направление, и потому нигде в Европе мы не встретим такой сложной *системы рек* с такими разносторонними разветвлениями и такой взаимною близостью бассейнов: ветви разных бассейнов так близко подходят друг к другу, что как бы переплетаются между собою, образуя чрезвычайно сложную речную сеть, наброшенную на равнину. Эти реки текут с невысокой Алаунской плоскости и потому имеют малое падение, т. е. медленное течение, причем встречаются рыхлый грунт, который легко размывается. Вот почему они делают змеевидные изгибы. Реки, падающие с значительных возвышенностей среди твердых горных пород, при своем быстром течении наклонны к прямолинейному направлению, а где встречают препятствие в твердых горных породах, там делают уклон под прямым или острым углом. Таково вообще течение рек в Западной Европе. У нас же вследствие малого падения и состава почвы реки чрезвычайно извилисты. Есть и еще особенность у наших рек, текущих в более или менее меридиональном направлении: *правый берег у нас вообще высок, левый низок*. Эта особенность оказала некоторое действие на систему внешней обороны страны и на размещение населения: по высоким берегам рек возводились укрепления и в этих укреплениях или около них сосредоточивалось население.

Таким образом, геологическим строением равнины обусловлены наиболее важные для ее истории географические ее особенности: во-1-х, ее деление на полосы с неодинаковой растительностью и, во-2-х, сложность ее речных бассейнов с разнообразными направлениями и общим узлом в центре равнины. Эти полосы и эти бассейны оказали сильное действие на историю страны, и притом неодинаковое, на различные стороны быта ее населения. Различием в составе почвы разных частей равнины определились особенности народного хозяйства, смотря по тому, на какой полосе, степной или лесной, в данное время сосредоточивалась главная масса русского населения. С другой стороны, речными бассейнами направлялось размещение населения, а этим определялось политическое деление страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны рассеивали население по своим ветвям. Но взаимная близость этих бассейнов не позволяла размещавшимся по ним частям населения обособляться друг от друга, поддерживала общение между ними, народное единство, и помогала государственному объединению страны. Однако по речным бассейнам рано обозначились различные местные группы населения и сложились политические области, *земли*, на которые долго делилась страна. В земском и княжеском делении Древней Руси легко заметить это гидрографическое основание. Так, древняя Киевская земля – это область среднего Днепра, земля Чернигов-

ская – область Десны, Ростовская – область верхней Волги и т. д. Наконец, гидрографическим узлом в центре равнины намечено было средоточие государства, на ней образовавшегося.

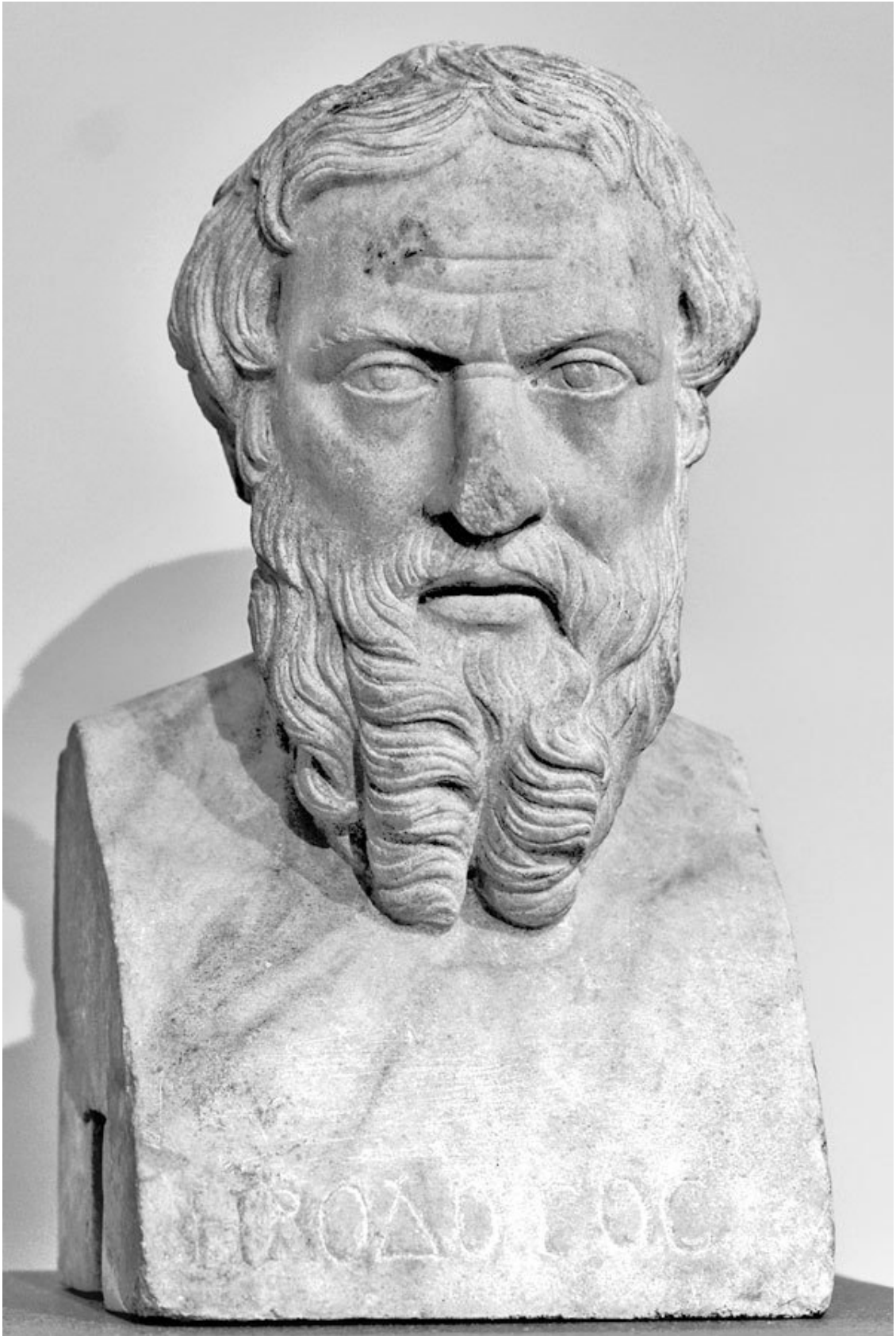
Древнейшие известия о народах Восточной Европы

Древний мир оставил нам очень немного надежных известий о той части нашей равнины, которая раньше других пришла с ним в соприкосновение, т. е. о северном побережье Черного моря. Греки в гомерические времена пугались Понта, как они называли это море, и из их малоазиатских колоний корабли долгое время не отваживались пускаться за Босфор Фракийский. Греки долго считали Понт границей обитаемой земли. Но с течением времени открылось несколько путей, которыми в греческое общество проникали сведения о северных берегах Понта. Первый, наиболее ранний из этих путей проложили греческие колонии, которые с VIII века до Р. Х. стали возникать по берегам Понта, сначала по южному, а потом по восточному и северному. Греческие купцы из колоний приносили в Грецию разные известия о варварском мире, облежавшем с севера Черное море. Но известия эти были сказочного характера и малонадежны. Аристотель упрекал современных ему афинян за то, что они по целым дням слушали рассказы людей, приходивших с берегов Фазиса и Борисфена (Риона и Днепра). Эти фантастические рассказы едва ли обогатили греческий мир верными сведениями о северных берегах Черного моря. Гораздо надежнее был другой источник сведений: это греческие путешественники-писатели, посещавшие северные берега Черного моря с целью изучения их. Самым важным из них был Геродот (V в. до Р.Х.), который посетил греческие колонии в устьях Днепра и Буга и сообщил соотечественникам подробное описание южной России. Еще до него, как узнаем из его же сочинения, эти берега посетил любознательный поэт Аристей, сообщивший в своих поэмах наблюдения над обитавшими там народами. Третьим путем ознакомления греков с миром понтийских варваров служили враждебные столкновения последних с первыми. Греки узнали кое-что об этих варварах от Персов, возвратившихся из похода Дария на Скифов (в 513 г. до Р.Х.). Потом (около 340 г.) со Скифами воевал македонский царь Филипп, который, поразив варваров, привел огромный полон тысяч в двадцать голов, который был весь обращен в рабство. Среди Греков и раньше было много рабов с северных берегов Черного моря, и все они были известны под общим названием *Скифов*.

Под римским владычеством этот последний путь расширился. Во время войн с Митридатом, который хотел поднять всех понтийских варваров против всемирных завоевателей, Римляне обогатились новыми обильными о них сведениями. Но варвары эти начали желать и сами нападения на римские провинции. Эти нападения начинаются в I в. по



В. Васнецов. Бой скифов со славянами



Геродот. Римская копия II в. н. э. греческого бюста, созданного в IV в. до н. э.

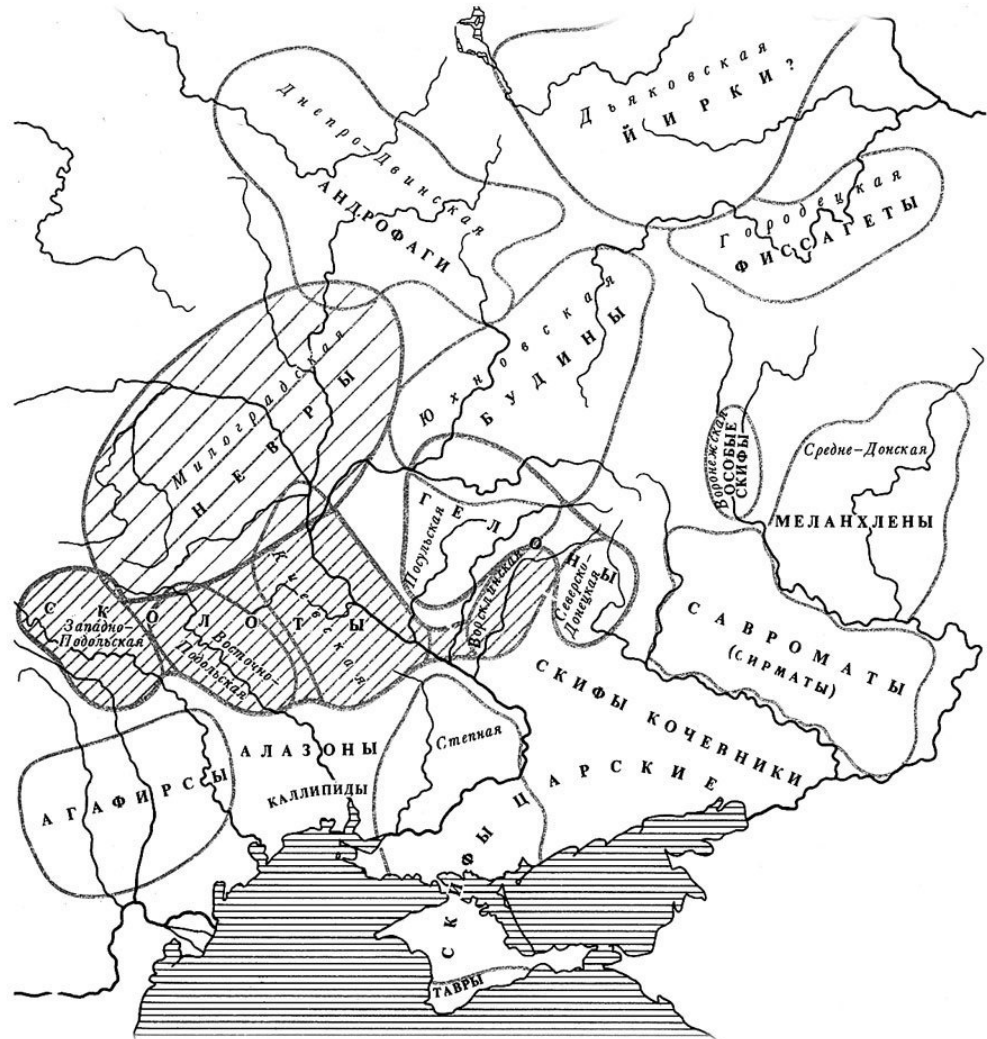
Р. X. вторжением Роксалан из-за Дуная в Мизию (в нынешнюю Сербию и Болгарию). За ними следовали нападения Даков, которые в том же веке успели образовать обширное государство, простиравшееся от нижнего Дуная до верховьев Вислы, и даже принудили императора


Дамициана платить им дань. Эти нападения еще ближе познакомили Римлян с понтийскими варварами. Такими путями проникали в греческое и римское общество сведения, которые были изложены некоторыми греческими и римскими писателями. Есть известие, что ученик Аристотеля Клеарх написал специальное сочинение о Скифии. До нас дошло обстоятельное описание Скифии, сделанное в IV книге Геродота. За ним следовал целый ряд историков и географов, которые описывали эту страну: в I в. по Р. Х. Страбон, Помпоний Мела, Тацит, во II в. – Птолемей Александрийский. Эти писатели проводят перед нами длинный ряд разных народов, поочередно господствовавших в южной России. Так, по рассказам поэта Аристея, по северным берегам Понта некогда обитали Киссерияне, а на севере от них – Скифы. При Геродоте Скифы являются здесь господствующим населением. После, во времена римского владычества, географы представляют господствующим здесь племенем каких-то Сарматов; за ними следовали или из них выделились Роксаланы, Аланы, Языги и проч. Эти этнографические имена задали трудную работу исторической критике. Ученые пытались разыскать, какого происхождения были народы, носившие эти имена. Бесплодность этих попыток происходила от того, что эти имена старались приурочить к тем географическим группам, которые сложились исторически и обособились в позднейшее время, – или к германской, или к славянской. Ученые ставили вопрос, который невозможно решить: были ли Киммерияне Германцы, или Славяне, или же они принадлежали к Кельтам? В такой постановке есть внутреннее противоречие: древние племена приурочиваются к позднейшей этнографической классификации. Сами древние географы не могли разобраться в распределении этих племен. Тацит, описывая Сарматов и Германцев, затрудняется сказать, к которому из этих племен принадлежали Венеды и Финны. Также Страбон, говоря о восточных соседях Германцев Бастарнах, обитавших в южной России, замечает, что они чуть не германского племени. У Птолемея в числе народов встречаем племя, в котором так легко заподозрить Славян, – племя *Ставан*. Это имя соблазнило некоторых ученых, которые признали в нем новгородских Славян нашей древней летописи. Разумеется, нельзя сказать, что среди этих племен не было Славян, но невозможно и доказать, что они были, потому что трудно решить, когда они обособились в отдельное племя. Все эти этнографические изыскания были только упражнениями в критическом остроумии или попыткой решить уравнение с тремя неизвестными.

Известия Геродота о Скифии. Готы. Гунны. Авары. В известиях древних географов о народах, населявших южную Россию до Р.Х. и в начале нашей эры, ценны, собственно, указания на условия жизни этих загадочных племен: под действие тех же условий станут, несомненно, и наши предки, которые появятся в более позднее время. Геродот написал превосходную картину южнорусской степи и быта ее обитателей.

Удивляясь обширности равнины, которую он наблюдал, он всего более поражается величиной и многочисленностью рек, орошающих Скифию. В населении Скифии он различает две ветви, из коих одну составляли Скифы-пахари, а другую – пастухи или скотоводы; одни были оседлые землевладельцы, другие кочевники; пастухи господствовали над пахарями. Последние жили по Днепру и далее на запад до Днестра, а кочевники обитали на восток от Днепра до Дона, за которым в степях далее к востоку обитали другие более дикие кочевники, очевидно, будущие преемники кочевых Скифов. Эти указания очень любопытны: стоит только зачеркнуть племенные названия, и можно подумать, что Геродот излагает начало новой истории, повторяет рассказ *Повести о начале Русской земли*, как с племен, живших по Днепру и его притокам, Полян, Северян, Радимичей, брали дань обитавшие в степях Хозары, в тылу и у которых за Волгой жили еще более дикие кочевники Печенеги, потом наводнившие донские и днепровские степи. Таким образом, у Геродота явственно намечены те самые три факта, которыми открывается наша история: 1) важное значение рек нашей равнины, 2) господство кочевников над оседлым населением и 3) смена одних кочевников другими. Так, Скифы сме-

нили Киммериян, самих Скифов сменили Сарматы. Родственны ли были по своему племенному происхождению Сарматы и Скифы, или были совершенно различные народы, об этом ничего нельзя сказать утвердительно; но и Сарматы сменили другие племена, этнографическое происхождение которых также очень темно.



 — «Земледельческая» Скифия
 — Археологические культуры времен Геродота

Территории, занимаемые скифами и славянами в VII–III вв. до н. э.

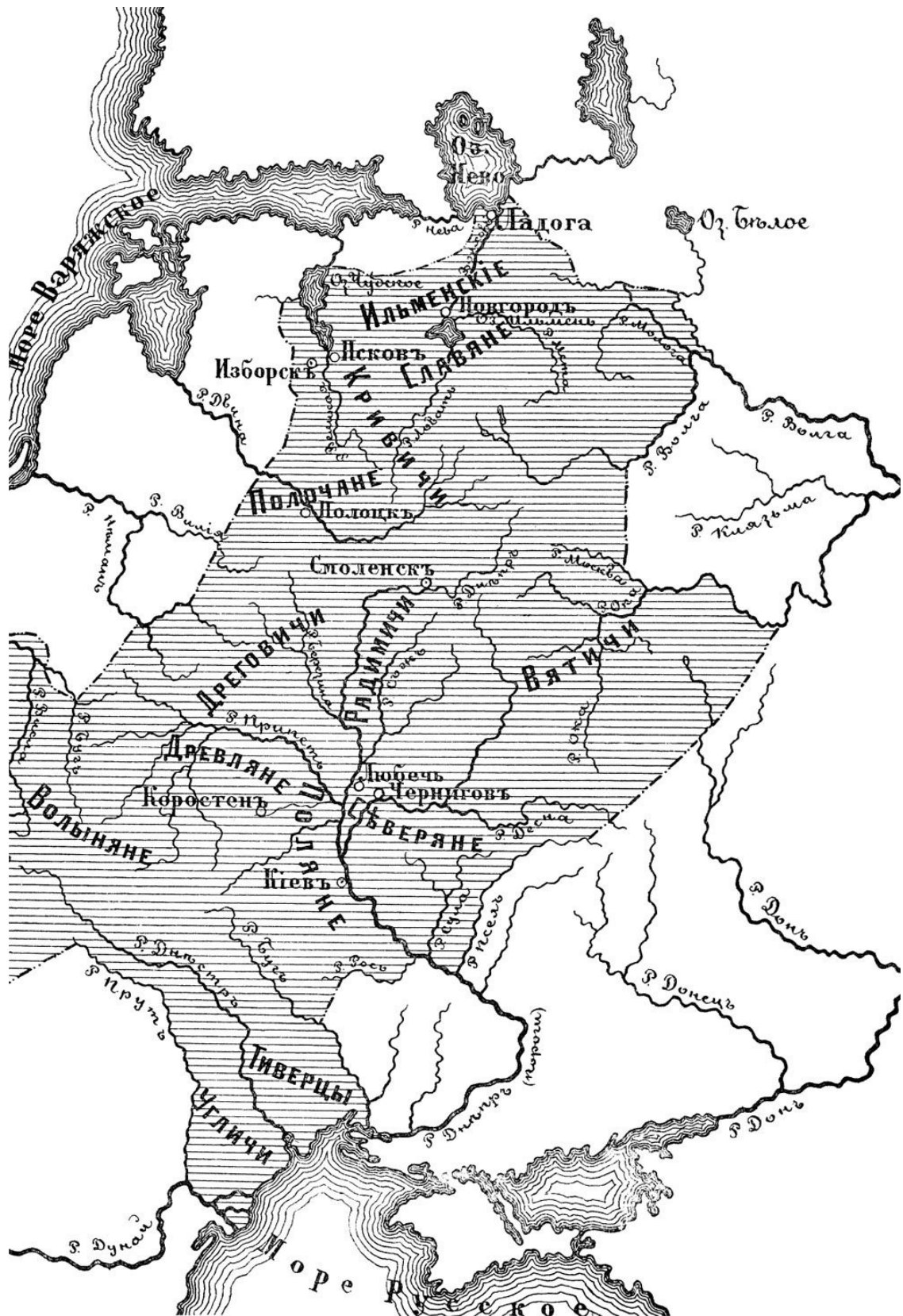
Около начала нашей эры в припонтийских степях усиливаются Роксаланы и Аланы (вероятно, разные названия одного и того же племени); но Готы уничтожают их господство. Племя Готов, по сказаниям, первоначально обитало где-то на берегах Балтийского моря. Во II или III веке по Р.Х. на этом море начали появляться корабли удалых мореходов, которые Финским заливом по рекам нашей равнины проникали в Черное море и громили Греческую империю. В IV в. их вождь Германарих завоеваниями образовал обширное царство – первое исторически известное государство, основанное европейским народом в пределах нынешней

России; в именах покоренных Германарихом племен, перечисляемых латинским историком Готов Иорнандом (VI в.), можно разобрать поздние названия финских обитателей нашей равнины: Мери, Веси, Мордвы и проч. В такой этнографической обстановке являются у того же писателя и наши Славяне под именами Венетов, Антов и *Склавен* (Sclaveni). Венеты, несмотря на свою многочисленность, были покорены Готами. Но прежде чем владычество Готов упрочилось, появились Гунны, разгромили Готов, перевалили за Карпаты, прошли Западную Европу и образовали новое эфемерное государство. Уже к концу V века, по смерти Атиллы, и это царство разрушилось. Спустя столетие племена, освободившиеся от гуннского ига, были захвачены новым азиатским потоком – Аvaraми, которые в VI в. успели распространиться до Карпат и нижнего Дуная. В предании об Аvарах, или *Обрах*, как их называет наша начальная летопись, является одно из восточнославянских племен под своим именем *Дулебов*. Аварское владычество продолжалось до VIII века, в конце которого Авары потерпели поражение от Карла Великого в Паннонии. В то время как разрушалось аварское владычество, восточные славяне являются под игом новых кочевников Хозар. Таков был ряд племенных потоков, среди которых выступают восточные Славяне, как обитатели нашей равнины. Когда в пределы этой равнины пришли Хозары, они застали восточных Славян уже на тех местах, где они обитали по рассказу нашей *Повести* о начале Русской земли. Когда и как они появились здесь?

Восточные славяне

Их расселение. Начальная летопись не помнит времени прихода Славян из Азии в Европу; она застаёт их уже на Дунае. Из этой придунайской страны, которую составитель *Повести* знал под именем земли Угорской и Болгарской, славяне расселились в разные стороны; оттуда же вышли и те Славяне, которые поселились по Днепру, его притокам и далее к северу. *Повесть* приводит этих восточных Славян прямо с Дуная на Днепр и не помнит, чтобы они останавливались где-нибудь на этом пути. Рассказывая о расселении Славян, она различает две их ветви, западную и восточную. Славяне с Дуная расселились в разные стороны и назвались по именам мест, где поселились: одни поселились по реке Мораве и назвались Моравой, другие – Чехами. Это западные Славяне. Восточную ветвь составляли Хорваты Белые, Сербы и Хорутане; от этих Славян *Повесть* и производит те племена, которые заселяли Поднепровье. Она рассказывает, что когда Волохи, по мнению некоторых исследователей, Римляне при импер. Траяне, напали на Славян дунайских и начали их угнетать, эти восточные Славяне пришли на Днепр и стали называться одни Полянами, а другие Древлянами и т. д. Но византийские и латинские писатели VI и начала VII века, рассказывая о задунайских Славянах, племенное имя которых (Sclavo) появляется в византийских известиях с конца V века, дают понять, что восточные Славяне не прямо пришли с Дуная на Днепр. Эти писатели разделяют Славян на две главные ветви: на *Анто*в, живших по Черноморскому побережью от нижнего Днестра до нижнего Днепра, и на *Славян* собственно, которые жили к северу от Дуная до верхней Вислы и к востоку до Днестра. Так именно определяет границы расселения славян латинский писатель VI века, хорошо знакомый с миром задунайских варваров и сам варвар, родом с нижнего Дуная, Иорнанд, историк Готов. Значит, Славяне, собственно, занимали тогда Карпатский край. Карпаты были общеславянским гнездом, из которого впоследствии Славяне разошлись в разные стороны. Эти карпатские Славяне в продолжение всего VI века громили Империю, переходя за Дунай; следствием этих постоянных вторжений, начало которых относят еще к III веку, и было постепенное заселение Балканского полуострова Славянами. Итак, прежде чем восточные Славяне попали с Дуная на Днепр, они долго оставались на Карпатах; здесь была их промежуточная стоянка. Одно из восточнославянских племен, Хорватов, знает на склонах Карпат, в Галиции, и наша начальная летопись даже в X веке, при кн. Олеге. Продолжительный вооруженный напор карпатских Славян в Империю соединял их в военные союзы. Мы находим следы одного такого союза, в состав которого входили именно восточные Славяне. *Повесть* о начале Русской земли составлена, очевидно, в Киеве; автор ее с особенным сочувствием относится к киевским Полянам, да и знает о них больше, чем о других племенах восточных Славян. Он передает ряд вражеских нашествий, испытанных этими Славянами, говорит о Болгарах, Обрах, Уграх, Хозарах; но до Хозар он не помнит о судьбе своих Полян. Народные потоки, прошедшие по южной России и часто дававшие больно чувствовать себя восточным Славянам, как будто ничем не задели восточнославянского племени, ближе всех к ним жившего, Полян. В памяти киевского повествователя XI в. уцелело от тех времен предание только об одном восточном славянском племени, но таком, которое в X в. не играло заметной роли в нашей истории. *Повесть* рассказывает о нашествии Аваров на Дулебов (в VI в.): «Си же Обри воеваху на Словенех и примучиша Дулебы, суцая Словены, и насилье творяху женам Дулебским: аще поехати будяше Обрину, не дадяше впрячи коня, ни вола, но веляше впрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли жен в телегу и повезти Обрена; тако мучаху Дулебы. Быша бо Обре телом велици и умом горди, и Бог потреби я, помроша вси, и не остана ни един Обрин; есть притча на Руси и до сего дне: *погибоша аки Обре*». Очевидно, благодаря этой поговорке в *Повести* и уцелело предание об Обрах. Но где были в то время Поляне и почему одни Дулебы страдали от Обров? Неожиданно с другой стороны идет нам ответ на этот вопрос. В сороковых

годах X века, лет за сто до составления *Повести* о начале Русской земли, писал о восточных Славянах араб Масуди в своем географическом сочинении *Золотые луга*. Описывая восточные славянские племена, он рассказывает, что некогда одно из них, коренное между ними, господствовало над прочими, имело верховную власть над ними; но потом пошли между ними раздоры, союз их разрушился, они разделились на отдельные племена и каждое племя выбрало себе отдельного царя. Это господствовавшее некогда племя Масуди называет Valinana (Волыняне), а из летописи мы знаем, что эти Волыняне – те же Дулебы и жили по Западному Бугу. Понятно, почему киевское предание запомнило одних Дулебов из эпохи аварского нашествия: тогда Дулебы господствовали над всеми восточными Славянами и покрывали их своим именем, как впоследствии все восточные Славяне звались *Русью* по имени главной области в Русской земле, ибо Русью первоначально называлась только Киевская область. Во время аварского нашествия еще не было ни Полян, ни самого Киева, и масса восточных Славян сосредоточивалась западнее, на склонах Карпат, в краю обширного водораздела, откуда идут в разные стороны Днестр, оба Буга, притоки верхней Припети и верхней Вислы.



Расселение славян в IX в.

Итак, мы застаем у восточных Славян в VI веке большой военный союз под предводительством князя Дулебов. Постоянная борьба с Византией завязала этот союз, стянула восточные племена в одно целое. Вот факт, который можно поставить в начале нашей истории. Со скло-

нов Карпат восточные Славяне постепенно расселились по нашей равнине. Это расселение – *второй начальный факт* нашей истории. Его можно уловить по некоторым косвенным указаниям. Византийские писатели VI и начала VII века застают задунайских Славян в состоянии необычайного движения. Император Маврикий, долго боровшийся с этими Славянами, пишет, что Славяне живут точно разбойники, всегда готовые подняться с места, поселками, разбросанными по лесам и по берегам многочисленных рек их страны. Несколько ранее писавший Прокопий замечает, что Славяне живут в плохих, разбросанных поодиночке хижинах и часто переселяются. Наша *Повесть* о начале Русской земли, не помня о приходе Славян с Карпат, запомнила один из последних моментов их расселения по русской равнине. Размещая восточнославянские племена по Днепру с его притоками, эта *Повесть* рассказывает, что были в ляхах два брата, Радим и Вятко, которые пришли с своими родами и сели – Радим на Соже, а Вятко на Оке, от них и пошли Радимичи и Вятичи. Поселение этих племен за Днепром показывает, что их приход был одним из поздних приливов славянской колонизации; новые пришельцы уже не нашли себе места на правой стороне Днепра и должны были продвинуться далее на восток, за Днепр. С этой стороны Вятичи очутились самым крайним племенем русских Славян. Летопись говорит, что Радимичи и Вятичи «от Ляхов»: это потому, что область указанного водораздела, древняя страна Хорватов, в XI веке, когда написана *Повесть*, считалась уже Ляшской страной и была предметом борьбы Руси с Польшей. Так, сопоставляя византийские известия с преданиями *Повести* о начале Русской земли, узнаем направление славянской колонизации и время, когда началась она. Византийцы перестают рассказывать о вторжениях карпатских Славян в пределы Империи со второй четверти VII века, потому что расселение этих Славян в разные стороны сопровождалось прекращением их набегов на Империю. Тогда заселялись Славянами Польша, Балтийское Поморье; тогда начало заселяться и Поднепровье.

Быт славян восточных

Племена. Мифология. Семейные отношения. В продолжение VII и VIII веков восточная ветвь Славян, сосредоточившаяся на северо-восточных склонах Карпат, отливалась мало-помалу на северо-восток и восток. На новых местах жительства быт переселенцев изменился во многом.

На Карпатах эти Славяне, по-видимому, жили еще первобытными родовыми союзами. Черты такого быта мелькают в неясных и скудных византийских известиях о Славянах VI и начала VII века. По этим известиям Славяне управлялись царьками и филархами, т. е. племенными князьками и родовыми старейшинами, и имели обычай собираться для совещания об общих делах. Трудно представить себе общественный быт восточных Славян в эпоху их расселения по русской равнине. Наша древняя *Повесть* о начале Русской земли, описывая расселение восточных Славян, пересчитывает племена, на которые они делились, указывая, где поселилось каждое. Так, на западном берегу среднего Днепра поселилось племя *Поляне*, к северо-западу от них, в дремучих лесах по южным притокам Припети, – поселились *Древляне*; к западу от них, по Западному Бугу, – *Вольняне* или *Дулебы*; против Полян, на восточном берегу Днепра, по Десне и Суле, жили *Северяне*; в соседстве с ними, по притоку Днепра Сожу, сидели *Радимичи*, а к востоку от них, по верхней Оке *Вятичи*; на верховьях трех рек – Днепра, Западной Двины и Волги, обитали *Кривичи*; к юго-западу от них, в болотистой и лесистой стране между Припетью и Западной Двиной, – *Дреговичи*; к северу от них, по Западной Двине, поселилась ветвь Кривичей *Полочане*, а к северу от Кривичей, у озера Ильменя и далее по реке Волхову, обитали *Славяне* новгородские. Но трудно решить, что такое были эти племена, плотные ли политические союзы или простая географическая группа населения, ничем не связанные политически. По-видимому, в эпоху расселения родовые союзы остались господствующей формой быта восточных славян, как изображает его *Повесть* о начале Руси, замечая: «Живяху кождо с своим родом и на своих местах, владеюще кождо родом своим». Однако легко понять, что расселение должно было разбивать и эти союзы. Родовой союз держится крепко, пока родичи живут вместе, но колонизация разрушала совместную жизнь родичей. Родовой союз держался на двух опорах: на власти родового старшины и на нераздельности родового имущества. Родовой культ, почитание предков скрепляли обе эти опоры. Но восточные Славяне расселялись по равнине разбросанными дворами. На такой порядок расселения указывает византийский писатель VI века Прокопий, говоря, что Славяне жили в плохих разбросанных хижинах и часто переселялись. Власть старшины не могла с одинаковой силой простирается на все родственные дворы, разбросанные на обширном пространстве среди лесов и болот. Место родовладыки в каждом дворе должен был занять домовладыка, хозяин двора, глава семейства. В то же время характер лесного и земледельческого хозяйства, завязавшегося в Поднепровье, разрушал мысль о нераздельности родового имущества. Лес приспособлялся к промыслам усилиями отдельных дворов, поле расчищалось трудом отдельных семейств; такие лесные и полевые участки рано должны были получить значение частного семейного имущества. Родичи могли помнить свое кровное родство, могли чтить общего родового деда, хранить родовые обычаи и предания; но в области права, в практических житейских отношениях связь между родичами расстраивалась все более. Это разрушение родовых союзов, распадение их на дворы или сложные семьи оставило по себе след в одной черте нашей мифологии.



«Каменная баба» из приднепровских степей

В сохранных позднейшими памятниками скудных чертах мифологии восточных Славян можно различить два рода верований. Одни из этих верований можно признать остатками почитания видимой природы. В русских памятниках уцелели следы поклонения небу под именем *Сварога*, солнцу под именами *Дажбога*, *Хорса*, *Велеса*, грому и молнии под именем *Перуна*, богу ветров *Стрибогу*, огню и другим силам и явлениям природы. Дажбог и божество огня считались сыновьями Сварога, звались Сварожичами. Таким образом, на русском Олимпе различались поколения богов – знак, что в народной памяти сохранились еще моменты мифологического процесса; но теперь трудно дать хронологическое определение этим моментам. Уже в VI веке, по свидетельству Прокопия, Славяне признавали повелителем вселенной одного бога-громовержца, т. е. Перуна. По нашей начальной летописи Перун является главным божеством русских Славян рядом с Велесом, который характеризуется названием «скотьего бога» в смысле покровителя стад. Общественное богослужение еще не установилось и даже в последние времена язычества видим только слабые его зачатки. Ни храмов, ни сословия жрецов незаметно; на открытых местах ставились изображения богов, пред которыми совершались некоторые обряды и приносились требы, т. е. жертва. Так, в Киеве на холме стоял идол Перуна, пред которым Игорь в 945 году приносил клятву в соблюдении заключенного с Греками договора. Владимир, утвердившись в Киеве в 980 году, поставил здесь на холме идола Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога и других богов, которым князь и народ приносили жертвы, даже человеческие. По-видимому, большее развитие получил и крепче держался другой ряд верований – культ предков. В старинных памятниках средоточием этого культа является со значением охранителя родичей *род* с его *рожаницами*, т. е. дед с бабушками – намек на некогда господствовавшее между Славянами многоженство. Тот же обоготворенный предок чествовался под именем *чура*, в церковно-славянской форме *щура*; эта форма доселе уцелела в сложном слове *прощур*. Значение этого дедародоначальника, как охранителя родичей, доселе сохранилось в заклинании: *чур меня*, т. е. храни меня дед. Но в народных преданиях и поверьях этот чур-дед, хранитель рода, является еще под именем *дедушки домового*, т. е. охранителя не целого рода, а отдельного двора. Таким образом, не колебля народных верований и преданий, связанных с первобытным родовым союзом, расселение должно было разрушать *юридическую связь* рода, заменяя родство соседством.



Древние славяне поклоняются своим богам. Гравюра XIX в.

Это юридическое разрушение родового союза делало возможным взаимное сближение родов, одним из средств которого служил брак. Наша древняя летопись указывает на ход этого сближения: описывая языческий быт Радимичей, Вятичей и других племен, она говорит об игрищах между селами, т. е. религиозных празднествах, на которых жители сел похищали, «умыкали» себе жен по уговору с ними. Эти села – родственные поселки, разросшиеся из отдельных дворов, какими расселялись восточные Славяне. На играх между селами похищали невест из чужих сел, т. е. родов, которые не уступали их добровольно при недостатке невест вследствие господствовавшего тогда многоженства. Вражда между родами, вызывавшаяся умычкой чужеродных невест, устранялась *венем*, выкупом невесты у ее родственников. С течением времени вено превратилось в продажу невесты жениху ее родственниками по взаимному соглашению, без умычки, которая заменилась обрядом *хождения зятя по невесту*. Дальнейший момент сближения родов летопись отметила у Полян, уже вышедших, по ее изображению, из дикого состояния, в каком оставались другие племена. Она замечает, что у Полян «не хожаше зять (жених) по невесту, но привожаху вечер (приводили ее вечером), а завтра приношаху, что на ней владуче (что за нее платили)». Таким образом, хождение жениха по невесту, заменившее насильственный акт умычки невесты, в свою очередь, сменилось обрядом *привода* невесты к жениху, почему законная жена в языческой Руси называлась *водимою*. Важно то, что родственники жениха и невесты становились *своjakами*, своими людьми друг для друга. Таким образом, брачный союз уже в языческую пору роднил чуждые друг другу роды. Это указывает на раннее ослабление родового союза у русских Славян. В первичном, нетронутым своем составе род представлял замкнутый союз, недоступный для чужаков: невеста из чужого рода порывала родственную связь со своими кровными родичами, но не роднила их с родней своего жениха.

Города и торговля. Хозары. Большая перемена произошла в экономическом быту восточных Славян, расселившихся по Днепру, его притокам и далее к северу, в области озера

Ильменя. При тогдашнем значении рек, как удобнейших путей сообщения, Днепр был столбовой торговой дорогой для западной полосы русской равнины: верховьями своими он близко подходит к Западной Двине и бассейну Ильменя-озера, т. е. к двум важнейшим дорогам в Балтийское море, а устьем соединяет центральную Алаунскую возвышенность с северным берегом Черного моря; притоки Днепра, издали идущие справа и слева, как его подъездные пути, приближают Поднепровье, с одной стороны, к карпатским бассейнам Днестра и Вислы, а с другой – к бассейнам Волги и Дона, т. е. к морям Каспийскому и Азовскому. Таким образом, область Днепра захватывает всю западную половину Русской равнины. Эту водную дорогу по Днепру из Балтийского моря в Черное наша летопись называет «путем из Варяг в Греки». Днепр и сделался для восточных Славян могучей питательной артерией народного хозяйства, втянув их в сложное торговое движение, которое шло тогда в юго-восточном углу Европы. Своим низовым течением и левыми притоками Днепр потянул славянских поселенцев к черноморским и каспийским рынкам. Это торговое движение вызвало разработку естественных богатств занятой поселенцами страны. Если мы представим себе нашу равнину в том виде, какой она имела десять или одиннадцать веков тому назад, то легко можем разделить ее на две полосы – на северо-западную лесную и юго-восточную степную. Восточные Славяне заняли преимущественно первую; самый город Киев возник на рубеже между обеими полосами. Эта лесная полоса своим пушным богатством и лесным пчеловодством (бортничеством) и доставляла Славянам обильный материал для внешней торговли: меха, мед, воск стали главными статьями русского вывоза.



С. Иванов. Жизнь восточных славян

Одно внешнее обстоятельство особенно содействовало успехам этой торговли. С конца VII в. по южнорусским степям стала распространяться новая азиатская орда, *Хозары*. Это было кочевое племя тюркского происхождения; но оно не было похоже на предшествовавшие ему и следовавшие за ним азиатские орды, преемственно господствовавшие в южнорусских степях.

Хозары скоро стали покидать кочевой быт и обращаться к мирным промыслам. В VIII в. среди них водворились из Закавказья промышленные Евреи и Арабы. Еврейское влияние здесь было так сильно, что династия хозарских каганов со своим двором, т. е. высшим классом хозарского общества, приняла иудейство. Раскинувшись на привольных степях по берегам Волги и Дона, Хозары основали средоточие своего государства в низовьях Волги. Здесь столица их Итиль скоро стала огромным разноязычным торжищем, где рядом жили могометане, евреи, христиане и язычники. Хозары покорили племена восточных Славян, живших близко к степям, Северян, Вятичей. Но хозарское иго доставляло покоренным большие экономические выгоды. С тех пор для них, как данников Хозар, были открыты степные и речные дороги, которые вели к черноморским и каспийским рынкам. Под покровительством Хозар по этим рекам пошла бойкая торговля из Поднепровья. Мы встречаем ряд указаний на успехи этой торговли. Арабский писатель Хордадбе, современник Рюрика и Аскольда, писавший не позже 870-х годов, замечает, что русские купцы возят товары из отдаленных краев своей страны к Черному морю в греческие города, где византийский император берет с них десятину (торговую пошлину), что те же купцы плавают по Волге, спускаются к хозарской столице, где властитель хозарский берет с них также десятину, выходят в Каспийское море, проникают на юго-восточные его берега и даже провозят свои товары на верблюдах до Богдада. Сколько поколений нужно было, чтобы проложить такие далекие и разносторонние торговые пути с берегов Днепра и Волхова! Восточная торговля Поднепровья, как ее описывает Хордадбе, могла завязаться по крайней мере лет за сто до этого арабского географа. Впрочем, есть и прямое указание на время, когда завязалась и развивалась эта торговля. В области Днепра найдено множество кладов с древними арабскими монетами, серебряными диргемами. Большая часть их относится к IX и X векам, ко времени наибольшего развития восточной торговли Руси. Но есть клады, в которых самые поздние монеты не позже начала IX века, а ранние восходят к началу VIII века; изредка попадаются монеты VII века и то лишь самых последних его лет. Эта нумизматическая летопись наглядно показывает, что именно в VIII веке завязалась торговля Славян днепровских с хозарским и арабским востоком. Но этот век был временем утверждения Хозар в южнорусских степях; ясно, что Хозары и были торговыми посредниками между этим востоком и русскими Славянами.

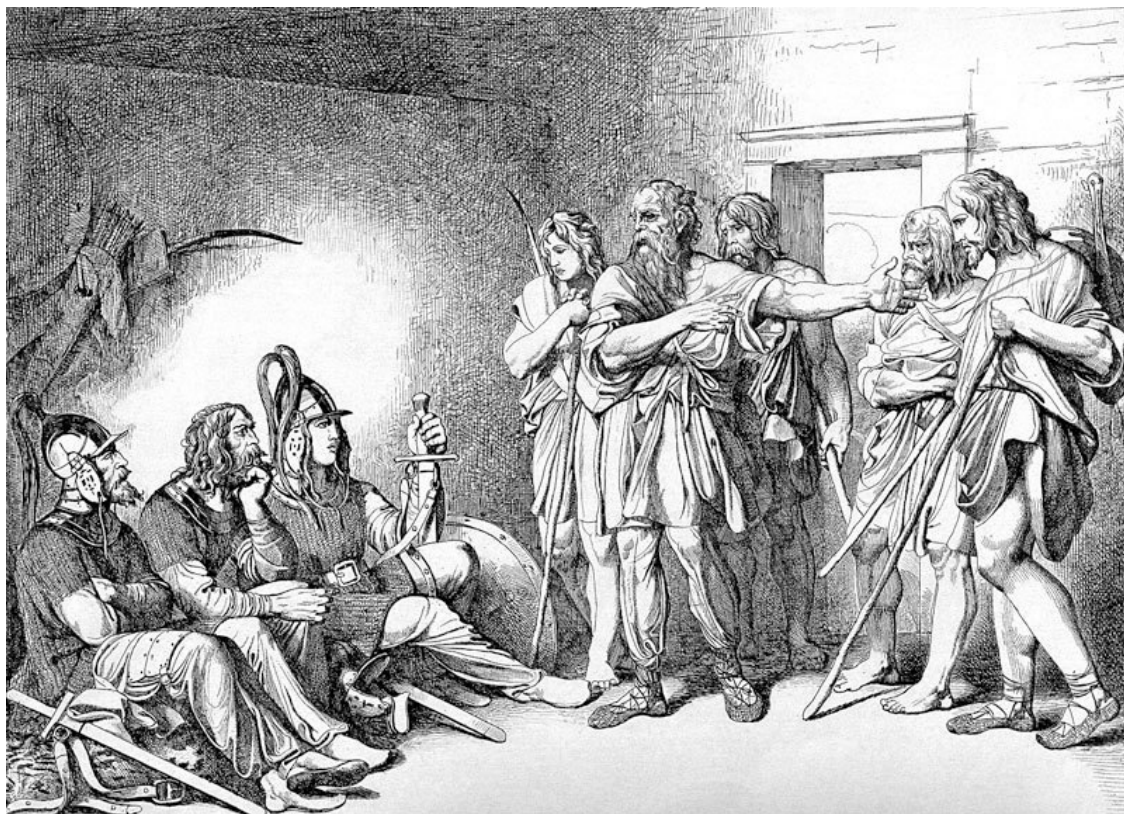


С. Иванов. Торг в стране восточных славян

Следствием успехов восточной торговли Славян было возникновение древнейших торговых городов на Руси. *Повесть* о начале Русской земли не помнит, когда возникли эти города: Киев, Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород и др. В ту минуту, с которой она начинает свой рассказ о Руси, эти города являются уже значительными поселениями. Но довольно беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были созданы успехами внешней торговли Руси: большинство их вытянулось длинной цепью по главной речной дороге Днепра – Волхова. Возникновение этих больших торговых городов было завершением сложного экономического процесса, завязавшегося среди Славян на новых местах жительства. Мы видели, что восточные Славяне расселялись по Днепру и его притокам разбросанными одиночными дворами. С развитием торговли возникали среди этих дворов сборные пункты, места промышленного обмена, куда сходились звероловы и бортники для торговли, для *гостьбы*, как говорили в старину. Такие сборные пункты получили название *погостов*. Мелкие сельские рынки тянули к более крупным, возникавшим на особенно бойких торговых путях. Из этих крупных рынков, служивших посредниками между туземными промышленниками и иностранными рынками, и выросли наши древнейшие города по Днепру и его притокам. Города эти служили торговыми центрами и главными складочными пунктами для обрабатывавшихся вокруг них промышленных округов.

Предание об основании Русского Государства

С начала IX века хозарское владычество начало заметно колебаться. Причиной этого было то, что с востока в тылу у Хозар появились новые орды Печенегов и следовавших за ними Узов-Торков. В первой половине IX в. варвары прорвались сквозь хозарские поселения и распространились по южнорусским степям. Есть два указания на это, идущие с разных сторон. В одной западной летописи, так называемой Бертинской, есть любопытный рассказ о том, как в 839 г. послы от народа *Руси* (Rhos), приходившие в Константинополь для подтверждения дружбы, т. е. для возобновления торгового договора, не хотели возвращаться домой прежней дорогой по причине живших по ней варварских жестоких народов. Из наших источников узнаем, какие это были народы. В некоторых редакциях *Повести* о начале Русской земли рассказывается, что Аскольд и Дир в 867 г. избили множество Печенегов. Значит, Печенеги уже около половины IX в. успели придвинуться близко к Киеву, отрезая среднее Поднепровье от черноморских и каспийских рынков. Хозарская власть, очевидно, уже не была в состоянии оберегать русских купцов на востоке. Главные торговые города Руси должны были сами взять на себя защиту торговли и торговых путей. С этой минуты они начали вооружаться, опоясываться стенами, вводить у себя военное устройство, запасаться ратными людьми. Одно внешнее обстоятельство помогло скоплению военного люда в этих городах. В первой половине IX в. на речных путях нашей равнины стали появляться заморские пришельцы из Скандинавии, получившие у нас название *Варягов*. В X и XI вв. эти Варяги постоянно приходили на Русь или с торговыми целями, или по зову наших князей, набиравших из них свои военные дружины. Но присутствие Варягов на Руси заметно уже в IX в. По словам *Повести* о начале Русской земли, их много набрали Аскольд и Дир, утвердившись в Киеве. Упомянутые послы от народа Руси, не хотевшие в 839 г. из Константинополя возвратиться домой прежней дорогой, отправлены были с Византийским посольством к германскому императору Людовику Благочестивому и там, по расследовании дела, по удостоверении их личности, оказались *Свеонами* – Шведами, т. е. Варягами, к которым наша *Повесть* причисляет и Шведов. Эти Варяги, появившиеся на Руси, по многим признакам были Скандинавы. Название их, по мнению некоторых ученых, есть славяно-русская форма скандинавского или германского слова *Waering* или *Warang*, значение которого недостаточно выяснено. Византийцы XI века знали под именем *Baraggoi* Норманов, служивших наемными телохранителями у византийского императора. Имена первых русских людей – Варягов и их дружинников почти все скандинавского происхождения; эти же имена являются и в скандинавских сагах: *Рюрик* в форме *Hrrekr*, *Трувор* – *Thorvardr*, Олег по древнекиевскому выговору на *o* – *Helgi*, женская форма *Ольга* – *Helga*, у Константина Багрянородного *Elya*, *Игорь* – *Jngvarr*, *Оскольд* – *Hoskuldr* и т. п.



Ф. Бруни. Призвание варягов. Гравюра, 1839 г.

Эти Варяги-Скандинавы и вошли в состав вооруженного класса, который стал складываться по большим торговым городам Руси под влиянием внешних опасностей. Варяги являлись к нам вооруженными купцами, пробиравшимися в богатую Византию, чтобы там с выгодой послужить императору, с барышом поторговать, а иногда и пограбить, если представится к тому случай. Любопытно, что, когда неторговому варягу нужно было скрыть свою личность, он прикидывался купцом, идущим из Руси или на Русь. На такой характер Варягов указывает и рассказ летописца о том, как обманул Олег своих земляков Аскольда и Дира, чтобы выманить их из Киева. Он послал сказать им: «Я купец, идем мы в Грецию, придите к нам, землякам своим». Осаживаясь в больших торговых городах Руси, Варяги встречали здесь класс населения, социально им родственный и нуждавшийся в них, класс вооруженных купцов, и входили в его состав, нанимаясь за хороший корм оберегать русские торговые пути и торговых людей, т. е. конвоировать русские торговые караваны. Как скоро из туземных пришлых элементов образовался такой класс в больших торговых городах, он должен был изменить положение последних. Когда стало колебаться хозарское иго, эти города сделались независимыми. Мы не знаем, как они управлялись при Хозарах, но можем заметить, что, взявши на себя защиту торгового движения, эти города скоро подчинили себе свои торговые округа. Это подчинение торговых районов промышленным центрам, теперь вооруженным, по-видимому, началось еще до князей, т. е. раньше половины IX века. *Повесть* о начале Русской земли, рассказывая о первых князьях, вскрывает любопытный факт: за большим городом идет его округ, целое племя или часть его. Олег взял Смоленск и посадил в нем своего посадника: в силу этого смоленские Кривичи стали признавать власть Олега. Олег взял Киев, и киевские Поляне вследствие этого также признавали его власть. Так целые округа являются в зависимости от своих главных городов, и эта зависимость, по-видимому, установилась помимо и раньше князей. Трудно сказать, как она установилась. Может быть, торговые округа добровольно подчинялись городам, как укрепленным убежищам, под давлением внешней опасности; еще веро-

ятнее, что при помощи вооруженного класса, скопившегося в городах, последние силою завладевали своими торговыми округами.

Как бы то ни было, в неясных известиях *Повести* о начале Русской земли обозначается первая политическая форма, возникая на Руси около половины IX века: это – *городовая область*, т. е. торговый округ, управляемый укрепленным городом, который вместе с тем служил и промышленным центром для этого округа. Эти древние городские области Киевская, Черниговская, Смоленская и др. легли в основание областного деления, установившегося на Руси при первых киевских князьях IX и X веков. Это областное деление не совпадало с племенным и, следовательно, от него не зависело. Не было ни одной городской области, которая бы состояла из одного и притом цельного племени; большинство областей составилось из разных племен или из частей. Так, Киевская область составила из Полян, Древлян и южной части Дреговичей. Напротив, племя Северян распалось на две городские области, Переяславскую и Черниговскую; в состав последней вошли еще часть Радимичей и все Вятичи, у которых не было значительных городов и которые потому не образовали особых областей. Иные из этих городских областей превращались в *варяжские княжества*. В тех промышленных пунктах, куда с особенной силой приливали вооруженные пришельцы из-за моря, они легко покидали значение торговых товарищей или наемных охранителей торговых путей и становились властителями охраняемых им городов. Тогда вождь компании таких пришельцев делался *конингом*, по-русски – князем области захваченного города. Как совершались такие превращения, показывает один рассказ начальной летописи. Князь Владимир, одолев брата Ярополка, утвердился в Киеве с помощью присланных из-за моря Варягов в 980 г. Тогда заморские его соратники, почувствовав свою силу, сказали своему князю-наемщику: «Князь, ведь город-то наш; мы его взяли; так мы хотим брать с горожан окуп по две гривны с человека». Владимир с трудом сбыл с рук этих назойливых наемников, выпроводив их в Царьград. Таким образом, иные вооруженные города со своими областями при известных обстоятельствах превращались в варяжские княжества. Так являются во второй половине IX в. на севере княжество Рюрика в Новгороде, Синеусово на Белом озере, Труворово в Изборске, Аскольдово в Киеве. В X в. становятся известны два другие княжества такого же происхождения: Рогволодово в Полоцке и Турово в Турове на Припяти.



Б. Чориков. Рюрик, Синеус и Трвор принимают послов славянских, призывающих их на княжение

Появлением этих варяжских княжеств вполне объясняется и занесенное в нашу *Повесть* о начале Руси сказание о призвании князей из-за моря. Поэтому преданию еще до Рюрика Варяги водворились среди новгородцев и соседних с ними племен славянских и финских, Кривичей, Чуди, Мери, Веси и наложили на них дань. Потом данники отказались ее платить и прогнали Варягов опять за море. Оставшись без пришлых властителей, туземцы перессорились между собою; не было между ними правды, один род восстал на другой, и пошли между ними усобицы. Утомленные этими усобицами, туземцы собрались и сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил нас по праву». Порешив так, они отправили послов за море к знакомым Варягам, приглашая желающих из них прийти владеть пространной и обильной, но лишенной порядка землей. Три родные брата откликнулись на зов и пришли «с роды своими», т. е. с дружинами земляков. Если снять несколько идиллический покров, которым подернуто это сказание, то перед нами откроется очень простое явление, не раз повторявшееся у нас в те века. Собрав рассеянные по разным редакциям начального летописного свода

черты предания, позволяющие нам восстановить дело в его действительном виде, мы узнаем, что пришельцы призваны были не для одного внутреннего наряда, т. е. устройства управления. Предание говорит, что князья-братья, как только уселись на своих местах, начали «города рубить и воевать всюду». Значит, они призваны были оборонять туземцев от каких-то внешних врагов, как защитники населения и охранители границ. Далее, князья-братья, по-видимому, не совсем охотно приняли предложение славяно-финских послов: «едва избрашась», как записано в одном из летописных сводов, «боясь звериного их обычая и нрава». С этим согласно уцелевшее известие, что Рюрик не прямо сел в Новгороде, но сперва предпочел остановиться вдали от него, при самом входе в страну, в городе Ладоге, чтобы быть ближе к родине, куда можно было бы укрыться в случае нужды. Водворившись в Новгороде, Рюрик скоро возбудил против себя недовольство в туземцах. В одном своде написано, что через два года по призвании новгородцы оскорбились, говоря: «Быть нам рабами и много зла пострадать от Рюрика и земляков его». Составился даже какой-то заговор. Рюрик убил вождя этого заговора, «храброго Вадима», и перебил много новгородцев, его соумышленников. Через несколько лет еще множество новгородских мужей бежали от Рюрика в Киев к Аскольду. Очевидно, заморские варяжские князья с дружиной призваны были новгородцами и союзными с ними племенами для защиты страны от каких-то внешних врагов и получили определенный корм за свои сторожевые услуги. Но наемные охранители, по-видимому, желали кормиться слишком сытно. Тогда поднялся ропот среди плательщиков корма, подавленный вооруженной рукой. Почувствовав свою силу, наемники превратились во властителей. Таков простой прозаический факт, по-видимому, скрывающийся в поэтической легенде о призвании князей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.